Bragunipe



Cuovench in

К столетию со дня рождения В.А. Смоленского 1901-2001





«О гибели страны

Внадиміръ Смоменсьй

единственной...»

стихи и проза

Москва • Русский путь • 2001

Федеральная программа книгоиздания России

Составитель Виктор Леонидов Дизайн Ольги Комаровой

Составитель выражает благодарность Российскому фонду культуры за содействие в подготовке книги

[©] В. Леонидов, составление, вступительная статья, 2001

[©] О. Комарова, дизайн, 2001

[©] Русский путь, 2001

О Владимире Смоленском

Он был невероятно красив. «...В нем... была какая-то прирожденная легкость, изящество, стройность. Худенький, с тонкими руками, высокий, длинноногий, со смуглым лицом, чудесными глазами, он выглядел всю жизнь лет на десять моложе, чем на самом деле был. Он не жалел себя: пил много, беспрестанно курил, не спал ночей, ломал собственную жизнь и жизнь других... Он влюблялся, страдал, ревновал, грозил самоубийством, делая стихи из драм своей жизни и живя так, как когда-то — по его понятиям — жили Блок и Л. Андреев, а вернее всего — Ап. Григорьев, и думал, что поэту иначе жить и не след» 1. Так писала о Владимире Смоленском Нина Берберова.

Другая королева русского литературного Парижа, Зинаида Алексеевна Шаховская, также всегда вспоминала о фантастической внешности молодого русского поэта: «Русский Монпарнас в 1925 г. только зачинался — и именно в этом году познакомилась я наконец с поэтом, который совершенно отвечал моему представлению о поэтах. Это было на Морском балу. Кто-то из гардемаринов, меня на него пригласивших, представил мне красивого, с тонкими чертами, черноволосого молодого человека: "Владимир Смоленский". Смоленскому было тогда 25 лет, и задумчивое, и бледное его лицо, тембр голоса, весь его романтический облик меня восхитил»².

¹ Н. Берберова. Курсив мой. Автобиография. М.: Согласие, 1996. С. 319.

² 3. Шаховская. Отражения. Париж: YMCA-Press, 1975. С. 40.

Но вряд ли только романтические черты способствовали бесчисленному потоку похвал, который сопровождал всю его поэтическую жизнь. И не иссякает, кстати, до сих пор. Ни одна из антологий поэзии русской эмиграции, беспрерывно выходящих в постсоветской России, не обходится без подборки его стихов. Маленькая книга Смоленского, изданная в 1994 году совместными усилиями Российского Фонда Культуры, Дома-музея Марины Цветаевой в Борисоглебском и издательства «Праминко», разошлась буквально в несколько дней. Исполнение произведений поэта по радио и телеканалам всегда вызывает поток писем и вопросов: «Кем же все-таки он был, Владимир Смоленский?»

Его творчество очень высоко ценил Ходасевич, к фамилии которого сейчас все больше, без всяких стеснений, добавляют эпитет «гениальный». «Я очень люблю поэзию Смоленского», — признавался Владислав Ходасевич в литературной колонке одной из самых популярных русских газет в Европе «Возрождение» 1. Автор первой и, пожалуй, до сих пор наиболее значительной обобщающей книги по истории российской словесности в эмиграции «Русская литература в изгнании» Глеб Струве писал: «Владимир Смоленский... — романтик, хотя на его технику, на некоторые его приемы и образы и оказал влияние Ходасевич. Романтизм его идет от Блока — периода "Снежной маски" и "Страшного мира" ("...сердце хочет гибели, / Тайно просится на дно"). Тема упоения гибелью, предельного отчаяния и пессимизма пронизывает поэзию Смоленского с первых его стихов...

¹ Возрождение. 1938. 8 июля.

Поэзия Смоленского серьезна и значительна. Личную тему он выносит за рамки узко личного и не боится высоких слов и приподнятого тона. При этом мастерство никогда не изменяет ему»¹. Первый составитель «Энциклопедического словаря русской литературы», в котором соединились как эмигрантская, так и советская ветви мастеров стихов и прозы, писавших порусски в XX веке, немецкий профессор Вольфганг Казак так оценивал талант Смоленского: «Одно из самых значительных явлений в эмигрантской поэзии как в духовном, так и в языковом отношении»². А его российский коллега Олег Михайлов, также первый, только уже на земле России, выпустивший обобщающую книгу по наследию литературы русского изгнания, посвятив Смоленскому отдельный параграф, утверждал, что «в этой области, во тьме одиночества и неизбежности ледяного взгляда смерти В. Смоленский, думается, не имеет равных в русской поэзии»³. «Смоленский не был большим поэтом, таким, как, например, Ходасевич или Пастернак, но это был в полном смысле слова "поэт Божьей милостью", живший поэзией и ничего выше ее не признававший», — считал один из ближайших друзей Смоленского критик Кирилл Померанцев⁴. «Смоленский может выдержать любую критику, потому что он поэт настоящий», — считал другой известный лите-

¹ Г. Струве. Русская литература в изгнании. Париж — Москва: YMCA-Press, Русский путь, 1996. С. 231—232.

² В. Казак. Энциклопедический словарь русской литературы с 1917 г. Лондон: Overseas Publications Interchauge, 1988. С. 711.

³ О. Михайлов. Литература русского зарубежья. М.: Просвещение, 1995. С. 391.

⁴ К. Померанцев. Сквозь смерть. Лондон: Overseas Publications Interchange, 1986. C. 35.

ратор, многолетний друг Мережковского и Гиппиус Владимир 3лобин 1 .

Такие отзывовы можно еще цитировать очень долго. Ясно и так — Владимир Алексеевич Смоленский был одним из тех, кто, как магнит, и личностью, и творчеством притягивал к себе лучших людей, «элиту», как сейчас говорят, интеллектуальный цвет русского Парижа.

«...Родился 24 июля 1901 года в имении моего отца на Дону», — сообщал Смоленский впоследствии Зинаиде Шаховской². Отец поэта, полковник, потомственный донской казак, получил чин хорунжего за верную службу в 4-м казачьем Донском полку. Далее он почти десять лет был адъютантом в одесском жандармском полицейском управлении, а предреволюционные годы работал начальником Луганского отделения екатеринославского жандармского полицейского управления железных дорог³. Согласитесь, оснований на получение пули от большевиков было более чем достаточно. Что и произошло во время Гражданской войны. Он был расстрелян во дворе своего имения под Луганском, на глазах сына. И этого Владимир Смоленский новой российской власти не простил никогда. «Ты встаешь из ледяной земли», — писал поэт в стихотворении, посвященном отцу, почти через двадцать лет после страшного аня.

«Начиная с 18 лет воевал с большевиками в добровольческой армии, с которой и эвакуировался из Кры-

 $^{^{1}}$ В. Злобин. Поэт нашего времени // Возрождение. 1957. № 70. С. 82.

² 3. Шаховская. Указ. соч. С. 77.

³ М. Соловьев. Дворяне Смоленские. Генеалогия дворян Смоленских. Кн. 2. М., 1998. С. 49.

ма в 21-м году. Два года жил в Африке, в Тунисе, где и начал впервые писать стихи, потом приехал во Францию, года два работал на металлургических и автомобильных заводах. Потом получил стипендию, кончил в Париже гимназию, учился в Сорбонне и коммерческой академии. Теперь служу бухгалтером в одном винном деле или, как говорит Ходасевич, — "считаю чужие бутылки". <...> Женат. Имею красивого сына. Вот кажется и все», — сообщал Смоленский Зинаиде Шаховской¹.

Они собирались вечером, после трудного дня, гденибудь в районе Монпарнаса. Кто-то работал шофером, кто-то маляром, кому-то, как Смоленскому, повезло, и он, получив стипендию, смог закончить хоть какое-то учебное заведение. Дальше все шли в плохонькое кафе: «Селекту» или «Ле Болле» возле бульвара Сен-Мишель. Они были очень разные — но всех их объединяло одно: поэзией и русскими стихами они жили больше, чем реальной жизнью, кипевшей вокруг на улицах столицы Франции.

Владимир Смоленский, Юрий Софиев, закончивший жизнь в Казахстане, Антонин Ладинский, также потом вернувшийся в СССР, король русского поэтического Парижа Борис Поплавский, впоследствии погибший от наркотиков, — все они совсем молодыми были выброшены из родной страны и в течение десятилетий важнее реальности были для них воспоминания.

Они собирались, читали стихи, организовывали кружки, объединения — к примеру, Союз молодых

¹ 3. Шаховская. Указ. соч. С. 77.

поэтов и писателей. Или «Перекресток» — эта поэтическая группа во главе со Смоленским и будущим известным мистиком Юрием Терапиано тянулась к Ходасевичу. Другие были более близки к еще одному строгому критику, также высоко ценившему Смоленского, хотя и вечно спорившему с Ходасевичем, — Георгию Адамовичу. Доклады, издание тоненьких книжечек своих стихов на сиротливой, дешевой бумаге. Именно в таком издании увидела свет первая книга стихов Владимира Смоленского «Закат» (Париж, 1931).

> Я не хочу поднять тяжелых век, Там те же звезды, что во мраке стынут. Как одинок бывает человек, Когда он Богом на земле покинут.

В этой книге Смоленского очень ярко проявилось то, за что его так ценили — способность писать о страшных вещах, о конце всего земного, об ангелах и ледяной пустоте жизни. Тональность его стихов удивительным образом совпадала с ощущениями поэтов этого, как любил говорить публицист Владимир Варшавский, «незамеченного поколения». Вольно или невольно Смоленскому хотелось быть продолжателем сверкающего мира декадентского Петербурга, мира, о котором он столько слышал от Георгия Иванова и Владислава Ходасевича.

«Закат» был прекрасно принят критикой. «В последнее время все чаще появляются поэты, которых столь же приятно читать, как трудно о них писать... Мне кажется, что Вл. Смоленский принадлежит к их числу, то есть к числу тех, чьи стихи об одиночестве, о "Ничего" — не уступка моде, а подлинная по-

эзия»¹, — таков был отзыв поэта Петра Михайловича Бицилли, впоследствии общепризнанного классика российской филологии XX века. Также очень хорошо написал о книге и Георгий Викторович Адамович: «Стихи эти не из тех, которые чем-либо удивляют или сразу выделяются. Они скромны, сдержанны и, так сказать, "не бьют на эффект". Но в них много прелести: надо только в эти стихи вчитаться, по выражению Блока, "вслушаться". Правда, прелесть эта очень грустная»².

Надо сказать, что далеко не всем нравилось вызывающее, где-то манерно-кокетливое поведение Смоленского. Довольно нелестные воспоминания оставил о нем прозаик Василий Яновский, правда, мало кого пожалевший в своих мемуарах «Поля Елисейские»: «В характере Смоленского было нечто объединяющее его с Ивановым и Злобиным — моральное гнильцо. Но умом или даром Иванова он, конечно, не обладал. Смоленский умел с толком и смаком повествовать о собственной смерти. Эта тема казалась ему и трагической, и значительной. Но в противоположность Иванову или Мережковскому, действительно скончался молодым, что, увы, задним числом объясняет многое...

Хорошенький, смуглый мальчик во фраке, кокетливо поигрывая бедрами, декламировал с эстрады о "пьяном поэте" и что "каждая ночь бесконечна". Знакомясь с дамою, он довольно грубо тут же начинал приставать к ней»³.

¹ Современные записки. 1932. № 49. С. 450.

 $^{^2}$ Г. Адамович. Литературная Неделя // Иллюстрированная Россия. 1932. 6 февраля. С. 14.

³ В.С. Яновский. Поля Елисейские. СПб.: Пушкинский фонд, 1993. С. 198.

Смоленский умер в 60 лет от рака горла. В свете только одного этого откровения Яновского уже вызывают сомнения. Но безусловно другое — Смоленский во многом был заложником того образа, который он лепил в стихах.

В 1938 году в издательстве «Современные Записки» увидела свет вторая небольшая поэтическая книга Владимира Алексеевича — «Наедине». Опять высоко оценил ее Бицилли¹. Несколько строже встретил это издание Адамович: «Школа Ходасевича заметна почти повсюду. Однако, научив Смоленского строить стихотворение, Ходасевич не мог научить его выбору слов, обращению с глаголами и прилагательными, короче — стилю»².

Россия, мы в вечном свиданье, Одним мы усильем живем, Твое ледяное дыханье В тяжелом дыханье моем.

С большой статьей в защиту своего любимца выступил В.Ф. Ходасевич. Своему учителю Смоленский в «Наедине» посвятил одно из лучших стихотворений:

Все глуше стон, все тише голос, Слова и рифмы все бедней, — Но на камнях проросший колос Прекрасен нищетой своей...

Вот так и ты, главу склоняя, Чуть слышно, сквозь мечту и бред, Им говоришь про вечный свет, Простой, как эта жизнь земная.

¹ Современные записки. 1938. № 66. С. 421.

² Последние новости. 1938. 13 мая.

«...Если сейчас не высказываю особых похвал его (Смоленского. — $B.\Lambda$.) новому сборнику, то лишь потому, что о стихах, вошедших в "Наедине", мне не раз приходилось писать, когда они появлялись в журналах, и на эти короткие, но частые отзывы я истратил весь свой запас комплиментов» 1 , — писал Ходасевич.

Действительно, Ходасевич был непривычно щедр в оценках стихов Смоленского. «"У Смоленского нет идеала", — сказал бы старший критик и был бы, к несчастью, прав. Без любви, без веры, без надежды, Смоленский в числе многих других молодых поэтов обречен не злобе, не гневу, не отвращению, но страшной опустошенности и подавляющей скуке... Стихи Смоленского очень умны, изящны, тонки, — по нынешним временам даже на редкость. Вкус никогда (или почти никогда) не изменяет ему»². «Тончайшие, исполненные подлинного чувства, умно-сдержанные стихи В. Смоленского»³. Кажется, Ходасевич так не писал ни о ком, кроме Пушкина.

Конечно, дело было и в самой личности Смоленского, но вряд ли бы он получил столько похвал от «мэтра» только за красоту и доброе отношение. Однако поэтический талант Смоленского дополнялся другим — мастерством чтеца.

«Когда он выступал в Русской консерватории, большой зал был всегда полон, иногда и переполнен. Очень красивый человек, он читал свои стихи со сдержанным пафосом, сопровождая чтение музыкальными жестами

¹ Возрождение. 1938. 8 июля.

² Возрождение. 1932. 7 января.

³ Возрождение. 1933. 5 января.

рук. Я сказал "музыкальными", потому что жесты словно аккомпанировали музыке его поэзии» 1 .

«...Владимир Смоленский читал свои стихи... Большой салон был полон до отказа. Опоздавшие устраивались в коридоре, где было хорошо слышно. Постепенно наполнился и коридор. У Смоленского был звучный, красивый голос. Он декламировал особой манерой — медленно, нараспев.

Русский Париж очень любил Смоленского. И в тот вечер его не отпускали, просили еще стихов. Поэт много читал. Ему без конца аплодировали» 2 .

Так вспоминали очевидцы его неповторимые выступления. Выступления, которые забыть было уже невозможно.

Надвигалась война. Оккупацию Смоленский пережил сначала в Аррасе, где работал на часовом заводе, а затем, едва попав на один из последних поездов и чуть не погибнув под его колесами, вместе с толпами беженцев вернулся в Париж. «Вернувшись в Париж... встретил я Бунина. В Бийянкуре горели склады бензина. С неба падали черные клочья сажи. "Уезжаю на юг, — сказал он мне. — А что же вы, поэт, будете делать? Куда уезжаете?" — "Некуда мне уезжать, Иван Алексеевич, — сказал я. — Нет денег, да и нет желания. От смерти все равно не убежишь. Да и есть ли смерть?"»³.

Это был вопрос, который занимал его всю жизнь. Конец земного пути, гибель всегда были для Смолен-

¹ К. Померанцев. Указ. соч. С. 34.

 $^{^2}$ Т. Величковская. О Владимире Смоленском // Возрождение. 1963. № 142. С. 71.

³ В. Смоленский. Воспоминания // Возрождение. 1960. № 98. С. 112.

ского главной наградой поэту. Потом, уже после войны, он так писал о Ходасевиче: «Ходасевич верил, что не только душу отдельного человека, но и душу России, ее поэзию, ее литературу, и значит и ее судьбу, могут спасти только вера и воля... <...> Прав Ходасевич, говоря, что "судьба русских писателей — гибнуть. Гибель подстерегает их и на чужбине, где мечтали они укрыться от гибели"»¹.

Ненависть Смоленского к коммунистам, навсегда разломавшим его жизнь, была такова, что впоследствии его даже пытались обвинить в коллаборационизме. Однако никаких доказательств не было. Да и быть не могло. Не в характере этого человека было хоть кого-нибудь предать. «Утверждаю, — писала впоследствии Зинаида Шаховская, — Смоленский был человек глубоко порядочный — ни в каких литературных склоках не замешанный — и благородный. Утверждаю я это потому, что во время Второй мировой войны Владимир Алексеевич, хоть и чувствовал большую ненависть к коммунизму, чем к тем, кто с ним боролся (за что и подвергся, когда война закончилась, остракизму непримиримых, обвинивших его в "германофильстве"), с немцами не сотрудничал, никого никогда не выдал, продолжал жить в бедности»².

Смоленский печатался и после войны, когда русский литературный Париж заметно «поувял». Но поэт публиковал стихи в журнале «Возрождение», в других русских изданиях. В 1947 году при его участии в Па-

¹ В. Смоленский. Мысли о Владиславе Ходасевиче // Возрождение. 1955. № 41. С. 101.

² 3. Шаховская. Указ. соч. С. 55.

риже увидел свет замечательный альманах «Орион», среди авторов которого были и Бунин, и Борис Зайцев, и Гайто Газданов. Вместе со стихами Владимира Алексеевича в «Орионе» увидел свет и его перевод со старофранцузского первой главы «Тристана и Изольды». Работа эта долгое время занимала поэта¹.

В 1957 году в Париже был издан последний прижизненный сборник произведений Владимира Смоленского «Собрание стихотворений». В него полностью вошли тексты первых двух книг, а также новый сборник «Счастье», так и не вышедший отдельным изданием. «Собрание стихотворений» показало, что Владимир Алексеевич стал поэтом огромного масштаба. Особую популярность приобрело стихотворение «Стансы»:

Закрой глаза, в виденье сонном Восстанет твой погибший дом — Четыре белые колонны Над розами и над прудом.

И ласточек крыла косые В небесный ударяют щит, А за балконом вся Россия, Как ямб торжественный звучит.

Другое стихотворение, как и «Стансы», тоже стало визитной карточкой творчества Смоленского. Да и вообще трагедии Гражданской войны:

Над Черным морем, над белым	Крымом,
Летела слава России дымом.	

¹ В. Смоленский. Любовь Тристана и Изольды // Возрождение. 1955. № 43, 45, 46.

И Ангел плакал над мертвым ангелом...— Мы уходили за море с Врангелем.

«Об этом неожиданном удачном ассонансе — "ангелом — Врангелем" кой-кто из поэтов говорил с нескрываемой завистью — "Большая удача", — отмечал «патриарх» литературы русского зарубежья Роман Гуль. — …Владимир Смоленский писал ясную, неусложненную поэзию, иногда сильную» 1.

Конец жизни Смоленского был печален. Ему, одному из лучших чтецов русского Парижа, сделали операцию на горле. Он не мог говорить и приходившим к нему писал свои слова на грифельной доске. Но стихи продолжались:

Перерезали горло, Бьют несчастное сердце Душат бедную душу мою...

В 1963 году, уже после ухода поэта, его ангел-хранитель, вторая жена Таисия Павлова издала маленькую книгу последних произведений. Сборник «Стихи», в котором Смоленский, по словам известной поэтессы Тамары Величковской, произносит: «...Слова умирающего. Последние правдивые слова о предсмертной муке и примирении с судьбой»².

Предлагаемая книга включает все поэтические произведения Смоленского, опубликованные в четырех парижских сборниках 1931, 1938, 1957 и 1963 годов. Несколько стихотворений, не вошедших в эти книги, были найдены нами в газете «Возрождение». Это «Пе-

¹ Р. Гуль. Я унес Россию. Апология эмиграции. Т. 2. Россия во Франции. Нью-Йорк: Мост, 1981. С. 187—190.

² Т. Величковская. Указ. соч. С. 71.

c m u x u



пел в очаге остынет» (31 марта 1932), «Широкий, легкий бег коня» (21 июля 1932) и «Мне очень трудно одному» (21 сентября 1932).

«Воспоминания» Владимира Смоленского и его «Мысли о Владиславе Ходасевиче» публикуются по текстам, увидевшим свет на страницах журнала «Возрождение», выходившего в Париже после Второй мировой войны (1960, № 98 и 1955, № 41).

Виктор Леонидов

- О гибели страны единственной,
- О гибели ее души,
- О сверхлюбимой, сверхъединственной В свой час предсмертный напиши.

3 a κ a m 1931 20 θ

* * *

Как лебедь, медленно скользящий По зеркалу озерных вод, Как сокол, в облаках парящий, Мой призрачный, ненастоящий, Мой выдуманный мир плывет.

И на его спине крылатой, В томительном и сладком сне, Я медленно плыву куда-то, Без сожаленья, без возврата, В прозрачной тая глубине.

И голос вещий, голос сонный Мечтающей души моей Плывет над темнотой бездонной И гулким эхом повторенный Бесследно исчезает в ней.

Мост

Под аркою железною небес, На пристани, где свален мертвый лес, Под аркою воздушного моста — Без имени, без счастья, без креста,

Они похожи на больных зверей, Уснувших в теплой сырости камней, Гранитною стеной защищены От света леденящего луны.

В высоких берегах течет река, Стремительна, мутна и глубока, Вот, поднимаясь, заливает мост, Доплескивает пеною до звезд.

По мутным волнам в небо уходя, Качается гранитная ладья, Несет волна, взбегая на волну, Бродяг и проституток в вышину.

В глубоких нишах спят — к спине спина, Им снится много мяса и вина, Веселый праздник — лунный диск дрожит, Пластинкой граммофонною кружит.

За стойкой улыбается патрон, Горячий кофе наливает он, В высоких залах, в райской тишине, Тепло на белоснежной простыне.

Течет река в небесные сады, Покамест Ангел утренней звезды, Чтоб душам в небесах не утонуть, Большим крылом не перережет путь.

Над миром поднимается рассвет, На темных лицах брезжит влажный след, В пустое небо поднимая пыль, Промчался по мосту автомобиль.

Будут жить в тесноте — тесной станет земля, как тюрьма, — Будут знать, что ни Бога, ни ада, ни вечности нет, Выше туч из бетона и стали построят дома, И большой дирижабль долетит до далеких планет.

И когда зазвенит над кружащимся миром труба, И когда над землей небеса распахнутся как двери, И погаснут огни, и откроются в склепах гроба — То никто ничего не поймет и никто не поверит...

1929

Никогда я так жалок не был, Так бессилен, смешон и нелеп. Мне снилось черное небо, Мне снилось, что я ослеп.

О, тяжесть слепой печали, Память земного дня, Невидимые — кричали, Бежали мимо меня.

О, страшная смерть без тленья, Ненасытный червь темноты... Я к Богу взывал о спасенье — Но мне отвечала ты.

Чем голос был глуше и тише, Тем явственней был ответ: «Милый, я слышу, слышу, Милый, спасенья нет»

1929

За ночами проходят дни, Равнодушно гасят огни.

* * *

Проплывают за снами сны, Одинаковы и черны.

Опускается ниже твердь. Знаю, Господи, это — смерть.

Знаю, Господи, это Ты Вел меня путем нищеты,

Потушил вкруг меня огни, Сновиденья, ночи и дни,

Чтобы я в непроглядной мгле, На пустой, ледяной земле,

Обреченный, как все, умереть Ни о чем не мог пожалеть.

Бессильны мы, обречены судьбе, Томимы страхом, нищетой и скукой, В тоске смертельной я пришел к тебе — И ты ко мне протягиваешь руку.

Молчи. Не надо о любви. К чему? Ведь не спасает ни любовь, ни вера, Тебя прижал я к сердцу моему, Как прижимают дуло револьвера.

С тобою в этом мире мы одни, И я забыл твое лицо и имя, Вот догорят последние огни, И ты умрешь, и я погибну с ними.

Не плачь. Молчи. Последний свет погас. Сейчас конец — пойми — сейчас над нами Бессильно вздрогнет и угаснет пламя, И тьма падет, и тьма поглотит нас.

Закрой плотнее дверь, глаза закрой, Забудь, что ты живешь, забудь, не думай, Отгородись от неба слепотой И глухотою от земного шума.

Не знай, что есть начало и конец, — И встанет новый мир перед глазами. Так улыбается в гробу мертвец Видению невидимому нами.

Как в водах темного колодца, Во мне душа отражена, Легчайшими крылами бъется О гладь зеркальную она.

Сквозь толщу бледного эфира Доходят, слышные едва, Несуществующего мира Неясные, как сон, слова.

И никогда не умирая, Меняя только бытие, Кривится отраженьем рая Сознанье темное мое.

Нет ничего, ни зла, ни блага, Ни мудрости, ни правды нет, — Зеркальная темнеет влага, Мерцает отраженный свет.

1929

Канут годы в вечность без следа, Смолкнет голос, сердце прахом станет, Но душа любить не перестанет, Землю не забудет никогда.

В тишине бессолнечных высот, Пролетая в неземном пределе, О тяжелом, о горячем теле, О дыхании земном вздохнет.

Так, под звездным, голубым шатром Вспоминает погорелец нищий Тесное и темное жилище — Молнией испепеленный дом.

1929

Какое дело мне, что ты живешь. Какое дело мне, что ты умрешь. И мне тебя совсем не жаль — совсем! Ты для меня невидим, глух и нем, И как тебя зовут, и как ты жил Не знал я никогда или забыл, И если мимо провезут твой гроб, Моя рука не перекрестит лоб.

Но страшно мне подумать, что и я Вот так же безразличен для тебя, Что жизнь моя, и смерть моя, и сны Тебе совсем не нужны и скучны, Что я везде — о, это видит Бог! — Так навсегда, так страшно одинок.

1930

Arrea

Бичом и криком подгоняя, Как нерадивого раба, Меня влечет моя слепая, Жестокая моя судьба.

В такой тоске, в такой неволе Как много надо сил иметь, Чтоб не сойти с ума от боли, От бешенства не умереть.

Но в темные часы бессилья Прорежут тьму — в который раз! — Мерцание легчайших крыльев, Сияние прозрачных глаз.

Как медленно я умираю... Но верю, что в конце пути Он приоткроет двери рая, Крылом поможет доползти.

С каждым годом бъется сердце глуше, С каждым часом бьется сердце тише, Как ни всматривайся, как ни слушай, Не увидишь ты и не услышишь Приближенья Смерти. И напрасны Будут жалкие твои надежды Сквозь еще не сомкнутые вежды, На одно мгновение, не ясно, Хоть на долю малую мгновенья, Темное лицо ее увидеть. Так ее любить и ненавидеть, Так желать ее прикосновенья, Так бояться и не мочь при встрече, Преодолевая страх и муку, Видеть убивающую руку. Будет путь души высок и вечен, Но нигде, влача свое бессмертье,

В неподвижном, незакатном свете Не увидишь, никогда не встретишь, Не узнаешь ничего о Смерти.

1930

У нас оледенела кровь От ожиданья и печали, Свою умершую любовь Мы в страхе к сердцу прижимали.

Мы думали, что оживет, Мы верили, что будет вечной... Но время продолжало лет, Бессмысленный и бесконечный.

И проходил за сроком срок, И слепли темные надежды, И падали у наших ног Ее истлевшие одежды.

И открывалось нам лицо, И тленьем тронутое тело, И обручальное кольцо На пальце высохшем темнело.

Но мы, превозмогая страх, Ее, холодную, качая, За тело принимаем прах И верим, что она живая.

1930

Нине Берберовой

Себя спасти не можешь — даже ты — От одиночества и темноты. Твои глаза — хоть нет светлее глаз — Темнеют каждый день и каждый час, И все слабее слабая рука, И все слабее слабая рука, И все сильнее по ночам тоска. У наглухо закрытого окна Стоишь ты, неподвижна и бледна, Ты смотришь вдаль. И по твоим губам Скользит улыбка. Что ты видишь там, За этой тишиной и темнотой? Какою невозможною мечтой Ты сердце ослабевшее пьянишь? Какое ожидание таишь? Какою радостью душа живет?

Так умирающий бессмертья ждет, Так иногда слепому снится сон, Что он прозрел, что солнце видит он, И у него тогда — о, ложь и страх! — Такая же улыбка на губах.

1930

Окончено стихотворенье, Душа пуста, душа легка, Дрожит, от головокруженья, Держащая перо рука.

Мир призрачный и еле зримый, Качаясь, в темноту плывет. Тяжелой, непоколебимой, Земля из темноты встает.

И только на листе бумаги Неясный и неверный след, И капельки чернильной влаги Небесный отражают свет.

А сердце часто и устало Стучит, как будто в звездной мгле И тело за душой бежало По небесам, как по земле.

1930

Все сжечь — стихи, любовь, надежды, Все позабыть, все потерять, На рубище сменить одежды, Последним из последних стать,

И беспощадно и сурово Отвергнуть счастие свое, Без Бога, без любви, без слова Влачить земное бытие.

И, может быть, тогда, в холодном, Томительном и жалком сне, Над прокаженным и голодным, В непостижимой вышине,

Перед ослепшими глазами Вдруг загорятся тьмы светил, И за сутулыми плечами Почувствуется тяжесть крыл.

И в воздаянье за потери, Которым не было числа, Обресть, как ангелы и звери, Познание добра и зла.

Нам снятся сны, но мы не верим им, Не понимаем знаменье Господне, Вчерашний сон развеется, как дым, Его не в силах вспомнить мы сегодня.

Вот так и жизнь земную — в смертный час Мы, коченея на холодном ложе, Смежая веки изумленных глаз, — Ни вспомнить, ни понять не сможем.

1930

T. M.

Не кляни ни людей, ни Бога, Не плачь о счастье земном, Каждый вечер тайно и строго О себе молись и о нем.

Все отнимет смерть и погубит, Но любви не сможет отнять. Так — умершего сына любит, Больше живого, мать.

Пройдут за годами годы, Неслышны, подобно сну, Он встретит тебя у входа, Он помнит тебя одну.

1929

Я не хочу поднять тяжелых век, Там те же звезды, в том же мраке стынут. Как одинок бывает человек, Когда он Богом на земле покинут.

Какие темные бывают дни, Какие мертвые бывают ночи... Закрой лицо руками и усни, Во сне мгновенья кажутся короче.

Ты, может быть, увидишь райский сон, Ты даже Ангела увидеть сможешь; Крылами рук твоих коснется он, И Божьим Ангелом ты станешь тоже,

И, может быть, тогда забудешь ты Хотя б на час, хотя бы на мгновенье Свои земные, темные черты, Свое земное, смертное томленье.

1930

Гибель

Мне снился сон — дрожала твердь От грохота и молний белых, И в ужасе металась Смерть В еще неведомых пределах.

И в черной крови и в огне Скакал, от ран изнемогая, Святой Георгий на коне, По тучам тяжко громыхая.

Архангел, крылья волоча, Рубился, уступая силе, И Божьи Агнелы, крича, Как ласточки в грозу, носились.

И столб подземного огня Вздымался, небо пожирая, И поднял темный вихрь меня, И бросил у преддверья рая.

И на предельной высоте, У опустевшего престола, В сиянии и красоте Мерцающего ореола, Увидел я его, и мгла Вставала за его плечами, И по щеке его текла Слеза, и дикими очами

Смотрел он с высоты высот На рай, потерянный навеки, И медленно смыкались веки, И горько улыбался рот.

Два восьмистишия

I

Моя высокая, моя звезда, Едва заметная, горит в ночи, — Дробясь, как синие осколки льда, На землю падают ее лучи.

И от мерцающих лучей ее На сердце призрачный ложится свет. Во тьме и в вечности и ты и я, И жизни не было, и смерти нет.

H

Ни смерти, ни жизни, ни правды, ни лжи, ни людей. Лишь сны в поднебесье, как стаи летят лебедей.

Летят в бесконечность, эфиром небесным пыля, Из пыли небесной, кружась, возникает земля.

И быстрые тени от крыльев ложатся во мгле, И тенью от тени живет человек на земле.

Лишь тенью от тени, эфирною пылью дыша, Рождается, бъется и гибнет во мраке душа.

Сердце

Все будет так, как я всегда хотел — В ногах покров парчовый будет бел, И будет лента венчика бела Вкруг ледяного, темного чела. Земной, привычный облик свой храня, Три долгих, три неповторимых дня Лежать я буду на столе один. Торжественный, заупокойный чин Священник будет истово свершать, И будут молча вкруг меня стоять Мои друзья, враги, моя семья, Все, с кем я жил и с кем встречался я, И будет, от прозрачной белизны, Еще красивее лицо жены. Все будет так, как я хотел всегда.

И только ты не сможешь никогда, В отчаянье последнем и тоске, Припасть к моей, почти живой, руке, К моим уже невидящим глазам. И даже в широко открытый храм Со всеми не посмеешь ты войти. Меня подстерегая на пути, Зажав рукой молчащий в муке рот, Увидишь ты, как медленно плывет Высокий гроб, в тумане, без следа...

И сердце мертвое мое тогда От жалости смертельной вздрогнет вдруг, И ты услышишь еле слышный стук, Такой знакомый, сердца моего. Но люди не услышат ничего.

Какое там искусство может быть, Когда так холодно и страшно жить.

Какие там стихи — к чему они, Когда, как свечи, потухают дни,

Когда за окнами и в сердце тьма, Когда ночами я схожу с ума

От этой непроглядной темноты, От этой недоступной высоты.

Вот я встаю и подхожу к окну, Смотрю на сад, на темную луну,

На звезды, стынущие в вышине, На этот мир, уже ненужный мне.

Прислушиваюсь к шепоту часов, Прислушиваюсь к шороху шагов.

Какое там бессмертие — пуста Над миром ледяная высота.

1930

Муза

Он тяжко клонится к столу, Чернилом белый лист марая, А Муза пленная, в углу, Об отнятом тоскует рае.

Ложится за строкой строка, Глухие отражая звуки, До боли потная рука Сжимает маленькие руки.

И нелюбимый, может быть, Терпеньем и трудом сумеет Любимую к любви склонить, Любимую назвать своею.

Но аживым будет торжество, Когда она, в изнеможенье, Коснется жадных губ его С покорностью и отвращеньем.

Друг, не бойся — не страшен страх, Мы с тобой на земле одни. Догорает любовь в сердцах, Потухают в окне огни.

Все исчезнет как дым, как сон, Даже с камней сотрется след Этих темных и злых времен, Этих страшных и долгих лет.

Все исчезнет как сон, как дым, Горстью пепла ляжет во мгле То, что было сердцем моим, Все, что я любил на земле.

Друг, не бойся — спасенья нет. Сердце к сердцу, в последний раз. Звездный, холодный свет Из мертвых струится глаз.

1930

Закат

Пожаром дымным наши дни горят, Горячий пепел ветер развевает. Прекрасный и торжественный закат, Как Ангел, над землею пролетает.

И полумертвого лица земли Касаются его большие крылья, Они в росе вечерней и в пыли, Они дрожат от страшного усилья.

И по его следам восходит ночь, Восходит в вечном сне и в вечной славе, Она одна сумеет всем помочь, Она одна сумеет все исправить.

Моя любовь — ты как легчайший сон, Который умирающему снится. Я знаю, без следа исчезнет он И больше никогда не повторится.

Я знаю, что любовь... Но все равно, Я слишком много знаю, слишком много... За свет свечи, когда кругом темно, Благодарить я должен Бога.

За слабое тепло, за слабый свет, Хотя бы призрачный, хотя бы ложный, Которого и не было, и нет, Который лишь во сне увидеть можно,

Благодарить я должен Бога. Есть Вокруг меня, в ночи без сна и света, Есть люди на земле — о, их не счесть! — Которым не было дано и это.

1931

Ты сказала мне: «Мы сильны, А любовь сильнее всего, К нам навстречу летят с вышины Бессмертье и торжество»

Две руки твои — два крыла — Поднимаешь ты в высоту. Так судьба Икара несла И поддерживала на лету

Перед тем, как засыпать рот Влажным морским песком, Перед тем, как земной полет Небесным спалить огнем.

Два восьмистишия

I

Зачем ты здесь, зачем всегда со мной, Зачем тревожишь мой прекрасный сон? Я зачарован вечной тишиной, Я над небесной глубиной склонен.

О, если б знала ты, что там на дне, О, если б ты могла туда взглянуть... Уйди, уйди, чтоб было легче мне В небесную пучину соскользнуть.

II

Не уходи, не уходи, — Мне холодно — со мной побудь, Скрестились руки на груди, Я их не в силах разомкнуть,

Я глаз не в силах приоткрыть, Мне холодно и мне темно. Не может быть, не может быть, Чтоб это было дно...

Я знаю, что любовь сильна, Я верю, что любовь спасет. Но руки холодны, как лед, А ночь длинна, а ночь темна...

* * *

И все темнее, все нежней, И все труднее видеть мне Сиянье ледяных очей, Горящих в черной вышине.

И слабый голос все нежней, Все глуше, дальше, выше он. Во тьме, над головой моей, Смертельный пролетает сон.

Он падает ко мне на грудь, Тяжелый, черный и немой, Холодная, ночная муть, Как крылья за его спиной.

Я знаю, что любовь сильна, Я верю, что любовь спасет, Но руки холодны, как лед, А ночь длинна, а ночь темна...

Не надо ни бессмертия, ни чуда — Холодный воздух чист, и в вышине Ты ласточкой летаешь белогрудой, Ты камнем падаешь на сердце мне.

И слабым криком, жалобным и страстным, Небесную тревожа тишину, Ты кружишься в закате темно-красном, Крылами рассекая вышину.

Так, разделенные тщетой земною, Судьбе, пространству, людям вопреки, В вечерний час, на берегу реки — Встречаемся, любимая, с тобою.

1931

Ты уходишь от меня, уходишь... Ни окликнуть, ни остановить, И не разлюбить, и не убить... Ты уходишь от меня, уходишь.

Удаляющиеся шаги, Звездный свет за узкими плечами... Слушай, слушай в тишине, ночами, Удаляющиеся шаги.

1931

Как крылья Ангела — любовь моя. Небесная невыносима тяжесть Для слабых плеч. Из мрака бытия, Где Смерть у выхода стоит на страже,

Не улететь. Он праха, от земли Не оторвать тяжелых ног. Сгибаясь, Влачу любовь по камням. Свет вдали Плывет во тьму, дрожа и погибая.

Все глубже, все неверней след ноги. Вот упаду, крылом закроюсь белым, И будут в страхе замедлять шаги Прохожие над распростертым телом.

И скажут: «Никогда не знали мы, Не видели и в книгах не читали, Чтоб Ангелы из райской тьмы На землю умирать слетали»

1931

* * *

Это очень хорошо, когда Жизнь течет, как черная вода, Мимо темных и пустынных стран В темный и безвестный океан.

Это очень хорошо — поверь, — Если за тобой закроют дверь, Дверь запрут на ключ, припрут болтом, Ключ в колодец выбросят потом.

Очень хорошо идти ко дну, Жить десятилетия в плену, Ничего не мочь и не хотеть, Ничего не знать и не уметь.

Ведь в года или минуты те Ты увидишь в ясной темноте, Как светла, как дивно хороша Одинокая твоя душа.

Звезда с небесных падает вершин... Ты видишь, звезды погибают тоже... Как ни живи, как ни гори — один Конец всему. Но разве сердце может

Понять, поверить, что когда-нибудь, Быть может, через несколько мгновений, Оно сорвется в ледяную муть, Как та звезда. И лёт уничтоженья,

Стремительный, молниеносный лёт, Уже ничья рука не остановит, И алый след живой, горячей крови, Как след звезды, во мраке пропадет.

1931

Плывет луна в серебряном огне, Плывет душа, качаясь в звездной пыли, И далеко внизу — на самом дне — Шумит толпа, гудят автомобили.

Земное утверждая бытие, Ребенок плачет и стучит рабочий. Плывет душа по волнам вечной ночи В последнее пристанище свое.

На ледяной постели, у окна, Спит человек, скрестив на сердце руки, В его глазах, открытых в смертной муке, Бессмертие, усталость, тишина.

1931

Все медленнее бъется сердце. Ночь. Пока ты можешь жить, пока ты жив — живи. Тебя нельзя спасти, тебе нельзя помочь. Друзья... но нет друзей, любовь... но нет любви.

Есть только одиночество и сон, И тяжесть в холодеющей крови, И дальних звезд в ночи чуть слышный звон. Покамест ты не глух, покамест слышен он — Живи.

1931

Звезды, одиночество, стихи, Ангелы, бессмертие, усталость... Сердце легким и бесплотным стало, Стали дни бесстрастны и тихи.

На высоком, звездном берегу Кончились юдольные скитанья. Сам себя коснуться не могу, Словно я живу в воспоминанье.

Словно где-то, много лет назад, Медленно сгорая в звездном свете, Шелестел листами этот сад И заламывались руки эти.

Словно в свете призрачных огней, Над землей клонясь в изнеможенье, Ты, моя любовь, — среди теней Ангельскою пролетаешь тенью.

наедине 1938 год

* * *

Нет тебя счастливей на земле, Нет светлей, спокойней и печальней. Труден путь, но близок берег дальний, Он уже светлеет в полумгле... Нет тебя счастливей на земле.

Ты как уголь в тлеющей золе, Ты как верность светишь сквозь измену, Верную всему ты знаешь цену, Знаешь все о нищете и зле — Нет тебя несчастней на земле.

На плече высоком — на крыле, Непосильную доносишь ношу, Сквозь толпу торгующих святошей, Каждый в сердце — по тупой игле, Каждому завидно — на крыле.

Ты один и нет тебя меж ними Беззащитней и непобедимей.

От бессмысленных дней, от бессонных ночей, От земной темноты, от небесных лучей, От любви, что темна, от тоски, что светла, От свободы, летящей звеня, как стрела, От бессмертных стихов и от смертных людей Стало сердце звезды ледяной тяжелей.

Обжигая меня, убивая меня, Посылая снопы ледяного огня, В неподвижном, бессмертном, безжизненном сне Ледяною звездою сияет во мне, И проснуться нельзя, и нельзя умереть, Только вечно сгорать, только вечно гореть.

Никакими словами, никакими стихами, Ни молчаньем, ни криком — ничем Не расскажешь о том, что ты слышишь ночами, О том, что закрытыми видишь очами, Когда неподвижен, и нем, И глух, ты лежишь, как в могиле, в постели На грани того бытия, И в темном, надземном, надзвездном пределе, Над жизнью и смертью, без страха, без цели Душа пролетает твоя. Никому не расскажешь ни словом, ни взглядом, И сам никогда не поймешь, Мир другой, что встает над сияющим хладом, Жизнь другую, которую чувствуешь рядом, Жизнь — которой полжизни живешь.

Пиши стихи, за это ты Бессмертным после смерти будешь, Твои истлевшие черты Живыми будут помнить люди.

Слова, сводившие с ума, — О, как от слов бывает больно! — Они повторят и весьма Останутся тобой довольны.

Высокие нахмурив лбы Над пожелтевшими листами, Твоей любви, твоей судьбы Коснутся жадными перстами.

А ты в земле, а ты на дне, Холодный, страшный, недвижимый, В ненарушимой тишине И в пустоте ненарушимой,

Отдал бы, если б только мог, За миг один, за каплю света, За вздох один — за слабый вздох — Все жалкое бессмертье это.

Разбрасывать и собирать слова, Уже почти без смысла и значенья, Уже без страсти и без вдохновенья, Уже без боли и без торжества.

И почерком разборчивым вписать В тетрадь еще пять-шесть коротких строчек, И не забыть ни запятых, ни точек. Перечитать и отложить тетрадь.

Изнемогая в медленной борьбе, Где победить и незачем и нечем, Все больше горбить сгорбленные плечи, Все равнодушней думать о себе

И о других. Так, продолжая жить Уже с полузакрытыми глазами, Почти непогрешимыми словами Научишься о жизни говорить. Смотри не отрываясь — дни и ночи, На небеса, на землю, на людей, Ведь каждый день прошедших дней короче, Ночей прошедших эта ночь темней.

* * *

Еще прозрачны дни, а ночи звездны, Но слышишь скрип уже подгнивших скреп? — Дыши, дыши, пока еще не поздно, Смотри, смотри, пока ты не ослеп,

На звезды, на людей идущих мимо, На все твое, что станет не твоим, Ведь даже боль твоя неповторима, Ведь даже смертный час невозвратим. Ты прожил жизнь — а каждый год, как век, Ты знал любовь, и боль, и вдохновенье, Ты стал уже почти не человек, Уже почти мертвец, почти виденье.

Уж нет различья яви и мечтам, Равно ничтожны рабство и свобода, Ты тяжело восходишь к высотам, Откуда нет возврата, нет исхода.

* * *

Ты на краю земли. — Какая тишь, Какая тьма. Ты руки поднимаешь — О, как они прозрачны! — Ты летишь, Ты падаешь, ты умираешь. В томлении смертном, на смятой постели, Хрипя, задыхаясь, томясь От боли и страха... Но ангелы пели, Над комнатой душной кружась.

* * *

Никто их не видел и пенья не слышал — Все знают, что ангелов нет, — Томилась душа и стонала все тише, И гаснул за окнами свет.

Но ангелы пели, кружась над душою, Целуя запекшийся рот, О вечном блаженстве, о вечном покое, О славе надзвездных высот. Наедине с самим собой Бессонницей томлюсь и снами, Бессмыслицу зову судьбой, А жалобу и боль — стихами.

И жду, когда придет рассвет, Который больше не разбудит, И знаю, что спасенья нет, И верю, что спасенье будет.

В полночный час, когда луна, Дрожа от холода и боли, В голубоватом ореоле Всплывет у твоего окна,

* * *

Когда дрожащие лучи Раскалены небесным хладом, Бесшумно поплывут в ночи, Чуть слышно зазвучат над садом,

Тогда, сквозь сон и тишину, В глухой тоске, в тревоге давней, Ты тихо подойдешь к окну, Тяжелые раздвинешь ставни

И, выходя из темноты Тропою незаметной глазу, Ни разу не качнешься ты, Нога не соскользнет ни разу;

С протянутой вперед рукой, Тяжелый, медленный и спящий, Почти лететь над темнотой Ты будешь в тишине звенящей.

Пока из ледяных пустот, Из гулкого земного мрака Не закричит, не запоет Какой-нибудь ночной гуляка.

Качнувшись, дрогнет вышина И поползет, и свет потухнет, И тяжело, как камень, рухнет На камни мертвая луна.

Стихи о звезде

Гори, гори в тумане белом, В тумане ледяном гори, Летящим и горящим телом Недвижный сумрак озари.

И в тесную мою темницу, Летя по тесным небесам, Сквозь узкое окно, как птица, Слетай ко мне по вечерам.

Плывя над холодом и тленом, Недостижима и близка, Скользи, кружась, по пыльным стенам, По низким сводам потолка,

Чтоб мог я, обжигая руки, — О, на мгновение всего! — В сладчайшей и легчайшей муке Коснуться тела твоего.

Расцветает любовь над болезнью и над нищетой, Над бессильем и ложью, над сном, над усталыми днями,

* * *

Расцветает над жизнью, прекрасной и темной мечтой,

Обвиваясь вкруг сердца, впивается в сердце корнями.

Над твоею душой, над дыханием трудным твоим, Над пустыми словами, над лирою глухо звенящей, Расцветает, цветением белым и легким, как дым, Разгораясь над сердцем, над миром сияньем дрожащим.

Прорастающий стебель пронзает насквозь бытие, О, смертельное счастье, о, бедное сердце твое!

Огромный мир, объятый мглой и сном, Где ни начала, ни конца не зная, Мы, задыхаясь в тесноте, живем О счастье и бессмертии мечтая.

Он скуден, тленен и неразрушим. Закрой глаза — есть мир иной над ним.

В котором ты — полночная звезда, Застывшая в сиянье и молчанье, В котором я — прозрачная вода, В которой отражается сиянье.

Над миром этим — мир совсем иной, Совсем прозрачный и совсем простой.

Семь букв, три слога, слово, имя — ты, Сиянье из небесной темноты.

Семь букв, как цепь стальная — не порвать, Семь букв, до смерти их не дописать.

Три слога, три крыла, взметая прах, Как ветры, пролетают в небесах.

Одно простое слово, но оно, Как уголь, добела раскалено.

Как высказать тебя, любовь? Каким молчаньем, криком, пеньем, Иль бредом, иль стихотвореньем, С каким безумным напряженьем Пытался и пытаюсь вновь... Как высказать тебя, любовь?

* * *

Какие темные слова Ждут своего преображенья, Какое испытать томленье, Какое пережить мгновенье, Чтоб только намекнуть едва?.. Какие темные слова!

Что надо знать, как надо жить, Чтоб слов чудесным сочетаньем, Чтоб звука тайного звучаньем, Одним огнем, одним дыханьем Тебя с собой соединить?.. Что надо знать, как надо жить! Если ты любишь кого-нибудь больше себя, Если ты веришь кому-нибудь так, как себе, Если в ответ никогда не любили тебя, Если солгали, и лгали, и лгали тебе, —

* * *

Рано иль поздно об этом узнаешь и ты, Рано иль поздно — о, если б ты мог не узнать! — Остановится сердце, окаменеют черты, И прозреют глаза и уже не сомкнутся опять.

Можешь тогда ты того человека убить, И Господь не осудит тебя и душа не осудит, Можешь тогда ты того человека простить, Но еще тяжелее тебе после этого будет.

Потому что, убив, ты не сможешь его позабыть, Потому что, простив, ты не сможешь его разлюбить.

- О тяжелом, неизбывном горе,
- О безвыходном, непоправимом,
- О своем бессилье и позоре,
- О тоске, ползущей черным дымом,

Никому не скажешь, скроешь, спрячешь, И в ночи, в невыносимой муке, Ты до крови искусаешь руки, Чтоб никто не слышал, как ты плачешь.

Не плачь, не плачь, все это сон и бред — И ты, и я, и этот тусклый свет.

И этот тесный дом, и этот низкий свод, Толкни его рукой — он поплывет.

Он поплывет и сгинет без следа, Мгновенно, без усилья, навсегда.

Не плачь, не плачь, не страшен душный плен Колеблющихся и прозрачных стен.

О любви, которой больше нет, О сгоревших днях, о горсти пепла, О душе, что увидала свет И от света навсегда ослепла.

О любви... — Молчи душа, молчи, Привыкай к немой и темной доле, Привыкай, и сердце приучи К ночи, одиночеству и боли.

Не надейся — непроглядна тьма, Неподвижна, а за ней другая... Но глядят два тусклые бельма Пристально, не видя, не мигая,

А из них, сквозь слезы, сквозь года, Сквозь тщету и боль, сквозь клочья дыма, Свет — тот самый — что сиял тогда, Нестерпимый и неугасимый.

Храни бесстрастные черты, Копи надежды и мечтанья И обо всем, что знаешь ты, Упорное храни молчанье.

* * *

Открытое глазам твоим Сиянье гибели и славы Не открывай глазам чужим, И равнодушным и лукавым.

Пусть ужас твой иль торжество Чужие не увидят взгляды, В час гибели ни у кого Позорной не проси пощады.

И темную смиряя кровь, Таи, за тишиной молчанья, Неутолимую любовь, Неугасимое сиянье. Ты встанешь в некий час от сна, Завеса разорвется дыма, И станет тайна жизни зрима И отвратительно ясна,

* * *

И в правду притворится ложь. И ты не сможешь... — Ты умрешь.

Но будет долго тень твоя, Дрожа в изнеможенном теле, Не зная сна, не видя цели, Бродить меж камней бытия,

И будет повторять слова, Скучать, и лгать, и улыбаться — Как все, — и будет всем казаться, Что мертвая душа — жива. Проклясть глухой и темный мир, Людей, и Ангелов, и Бога, Мерцанье звезд, бряцанье лир, Сиянье у ее порога Проклясть, и ничего не мочь, О, даже умереть не в силах! Из смерти в смерть, сквозь бред, сквозь ночь, Сквозь холод, что синеет в жилах, Сквозь страшные свои мечты...

Есть тишина, ей нет названья, Ей нет начала, нет конца, И мертвое ее дыханье Живые леденит сердца.

Есть тишина — невыносимо Прикосновенье пустоты — Она, неслышно и незримо, Ползет со страшной высоты.

Небесные колебля своды, Клубясь меж звезд и облаков, В широкие вползает входы И в щели узкие домов.

Тогда как в ледяных могилах, Тогда как в непробудном сне, Крик человеческий не в силах Возникнуть в мертвой тишине.

Беззвучно шевеля губами, Нем человек. И на него Смерть смотрит тусклыми зрачками, Не видящими ничего.

Оно исчезает — счастье. Надежду оставь навсегда. Так, меж коченеющих пальцев, Ледяная скользит вода.

Оно исчезает навеки, На одно мгновенье прильнув К одинокому, бедному сердцу, Обманув его, обманув...

Оно исчезает плача, Во след ему не кричи — Счастъе знает, для сердца земного Смертельны его лучи.

...А все-таки, наперекор всему, Как звездный луч сквозь пустоту и тьму,

Как звук струны сквозь шум, как мысль сквозь сон, Как милость сквозь незыблемый закон,

Слетает к нам надежда. Все слабей, Но все ж мы можем улыбнуться ей.

Живу как все, живу со всеми, Не хуже и не лучше всех, Неслышно пролетает время И с каждым годом легче бремя Земного горя и утех.

* * *

Привык к земле, ее тщетою Доволен, как и все. — Но вот Какой-то странной теплотою, Какой-то страшной высотою Тревога сердце обожжет.

Как будто вдруг воспоминанье О навсегда забытом дне, Как медленное содроганье, Как еле слышное звучанье, Возникнув, смолкнет в глубине,

И ничего не понимая, Не в силах вспомнить ни о чем, Руками голову сжимая, Я плачу о забытом рае, О счастье отнятом моем.

Музе

Исчезла ты из бытия, Растаяла во мгле и тленье, И не дождутся воскресенья Ни тело, ни душа твоя.

Но в мире тишины и сна, Где ты так глубоко дышала, Быть может, только ты одна Средь призраков существовала.

Исчезла ты — и никого... И пуст и хладен мрак надмирный, И только слабый голос лирный, Лишь отзвук плача твоего. Ты помнишь счастье, что живое билось, Как пойманная ласточка в руках, Ты помнишь — море звездами светилось И звезды отражались в небесах.

* * *

Ты помнишь мир, огнем и чудом полный, Как, содрогаясь, отрывался он От берегов и плыл в лучах, как сон, Тонул в волнах и вновь всплывал на волны.

Ты помнишь ли, как мы с тобою шли Не видя смерти и не зная страха, Уже почти не задевая праха, По самой грани неба и земли.

Ты помнишь ли? Иль ты уже забыла, Как я тебя любил, как ты меня любила.

Вот ты ушла, уходят годы следом, Сливаются с забвением и мглою, За годом год — в погоню за тобою... Пустынен путь и страшен и неведом.

* * *

В погоню без надежды и возврата Уходят тени за твоею тенью, Их гонит в ночь тоска недостиженья Безумна, безутешна и крылата.

Вслед за тобой, бесследно исчезая, За годом год — как тающие льдины, Вслед за тобой, меня навек покинув И никогда тебя не настигая. Когда какой-нибудь дурак Сквозь вещий сон, сквозь вечный мрак, В живое сердце пальцем тыча (Рука в чернилах и крови), Напишет о твоей любви, Себя при этом возвеличив,

* * *

Тогда ты вспомнишь вновь и вновь Погибшую свою любовь, Угасшее свое волненье, Сквозь мутную волну тоски Почувствуешь ее руки Чуть слышное прикосновенье.

И, может быть, заплачешь ты, На грязные склонясь листы, Над мертвою своей мечтою, — И несколько сольется строк, Написанных в короткий срок Короткопалою рукою.

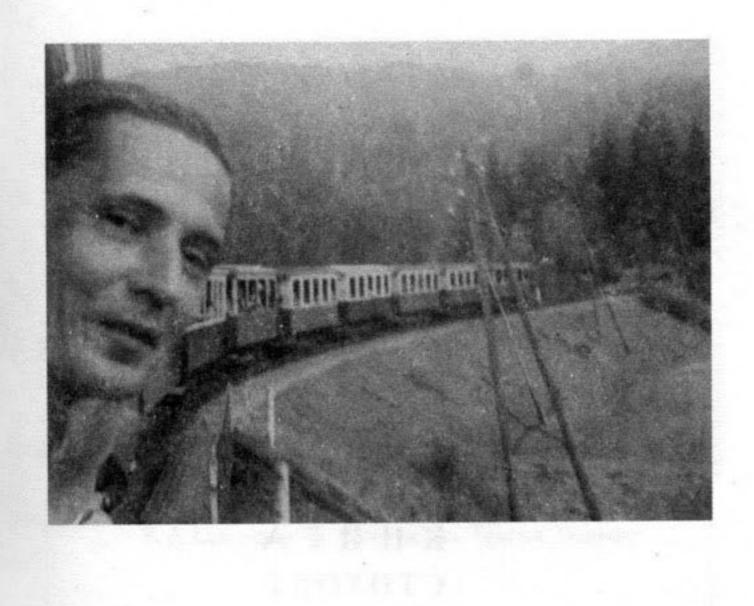
Земная жизнь — коротких лет Неторопливое теченье... Здесь даже звук, здесь даже свет Пропитан холодом и тленьем.

* * *

День вспыхивает, гаснет вновь... Не верьте, ничему не верьте, Здесь нет надежды, здесь любовь — Напоминание о смерти.

Здесь Бога нет, Он где-то там, Он где-то — иль нигде — над нами, Не поднимайте ж к небесам Глаза, сожженные слезами.

Примите тлен и нищету Земли и, вместе с ней сгорая, Все разлюбив, все понимая, Клонитесь молча в темноту.



В. А. Смоленский

в смоленскій

НАЕДИНЪ

В ТОРАЯ К Н И Г А СТИХОВЪ

Парижъ



В. А. Смоленский и его жена Таисия Павлова



В. А. Смоленский на отдыхе. Конец 50-х годов

Обложка сборника стихов, изданного в 1957 году Приглашение на поэтический вечер

Внадишіръ Сиоленсь гіп

coopanie omnxombopanie

napuses

Приглашеніс

four 2 fixennes.

Вечеръ

Владиміра Смоленскаго

Суббота 30-го іюня въ 9 часовъ вечера

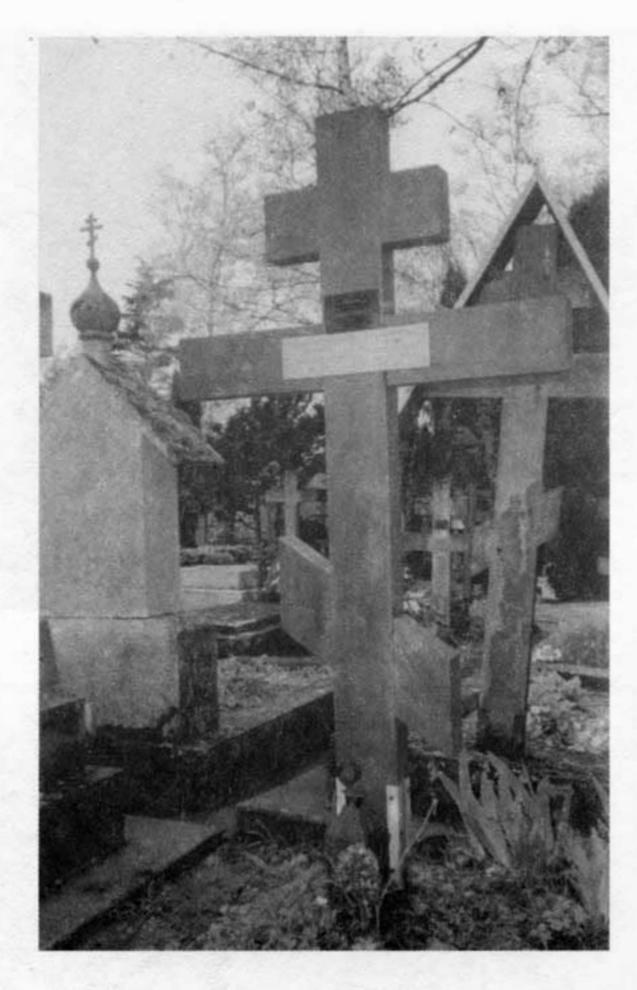
26, Avenue de New - York PARIS (16*)







В. А. Смоленский. Последние годы жизни



Могила В. А. Смоленского на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа

От музыки и от вина, От душного дыханья ночи Порочные сияют очи, Как звезды ангельского сна,

* * *

От музыки и от вина, От пения цыганки пьяной Ты вновь становишься желанной, Ты вновь становишься ясна,

От музыки и от вина, Над дрогнувшим склоняясь миром, Ты счастьем, верностью и миром Со мною соединена,

От музыки и от вина, Безумною мечтой сияя... Как будто ты не тварь земная, А вечная моя жена. Так с мышью играет кошка, Гладит остреньким коготком: «Помучься еще немножко, Умереть успеешь потом.

Помучься под мягкой лапкой, Не надейся — не отпущу, Награжу тебя смертью сладкой. Награжу — когда захочу».

Не могу оторваться от взгляда Зрачков твоих, нежно-пустых, Зверю, тени, чудовищу ада Каждый вздох мой и каждый стих.

У самого сердца колет Коготок, то слабей, то сильней, Никуда не скрыться от боли, От жестокой и нежной воли Темной души твоей. Никого не любить, ни себя, ни других — никого. Ничего не хотеть — даже смерти, не ждать — даже чуда, Вот, отчаянье стало спокойное, как торжество, Стало каменным сердце, и камни, и камни повсюду.

* * *

Стало каменным сердце, а ты говоришь о любви, Стало каменным сердце, а ты говоришь о надежде, Те же звезды сияют и лгут и сияют как прежде, Только сердце как камень, а было в слезах и крови.

Надо много вина, чтоб забыть, чтоб поверить опять, Надо много вина, чтобы сердце согреть ледяное, За кабацкою стойкой, последнее место земное, Где мы можем еще улыбаться, любить и мечтать.

Дай мне руку твою на прощанье — уж близок рассвет, Гаснут души, и звезды уходят дорогою млечной, Вот, еще одну ночь скоротал с пьяной музой поэт, Вот, еще одну ночь, а ведь каждая ночь — бесконечна.

Все давным-давно просрочено, Пропито давным-давно, Градом бито, червем точено, Светом звездным сожжено.

Все давным-давно раздарено, Выменено на гроши, Выкрадено, разбазарено, Брошено на дно души.

Все законы непреложные Твердо знает нищета: Каждая надежда — ложная, Каждая любовь — не та...

Только смутное томление, Темные, в бреду, слова, Темный сон о пробуждении... И на самом дне падения Ожиданье торжества. Так в безрадостной страсти сгорает холодное

* * *

Так в чаду догорают последние дни на земле... Буду вечно в аду в свою жизнь с отвращеньем глядеться,

сердце,

Будет пламя лизать отраженье на мутном стекле.

Будут вечно звучать, вечной болью и вечною ложью, Все слова, все стихи — о, как мутная гладь глубока! —

Буду снова и с новой клониться на смятое ложе, Будет снова и снова тоска, и тоска, и тоска.

И последнею болью, которой названья не знаю, И последнею ложью, которой названия нет, Будет тихий, покорный, высокий — как будто из рая, Твой призыв, — твой далекий, печальный и ласковый свет.

Шампанское, и водка, и абсент, И музыка, и запах ресторана — Затянутая в смокинг обезьяна Старухе шепчет сальный комплимент.

Поет цыган, а важный метрдотель Склоняется к икающим влюбленным — Карману и душе опустошенным Должно быть вреден благодатный хмель.

Он жжет огнем свинцовые сердца, Их прочный мир шатается и тает, Обломанные когти выпускает Придушенная совесть подлеца.

Уйдем, мой друг, отсюда навсегда, Мы тоже пьяны, но совсем иначе... Уйдем скорей, иль ты опять заплачешь От боли, отвращенья и стыда.

Откроем дверь, пусть ветер пробежит По волосам, по тихим струнам лиры, Пусть мир иной, страдающий и сирый, Заблудших нас и примет и простит.

Уходит жизнь, слабеют силы, И все невыносимей жить, Но голос музы, голос милый Не в силах сердце разлюбить.

* * *

Все призрачно, все безнадежно... Но иногда, но иногда Далекий голос, голос нежный Оттуда долетит сюда,

И сердце вздрагивает. Жадно Прислушивается. Едва, Едва он слышен. Беспощадный Шум, заглушающий слова

Меж Ней и мною. О, как трудно, Мучительно и сладко мне Чуть слышный отзвук песни чудной В блаженном слушать полусне,

И слов разорванных на части, И звуков смысл воссоздавать, И тени света, тени счастья Во мгле и боли прозревать.

Уходи навсегда, исчезай без следа в темноте, Из которой я вызвал тебя вдожновеньем

* * *

и страстью,

Я не в силах тебя удержать на такой высоте — На такой высоте разрывается сердце на части.

На такой высоте слишком страшно, и трудно дышать,

Я тебе возвращаю свободу, моя дорогая, — Так срываются звезды, что больше не в силах сиять,

Так снижается пламя, в ночи ледяной догорая.

Я прощаюсь с тобой, я тебе улыбаюсь в слезах, Я тебе улыбаюсь, от сердца тебя отрывая... Ты сияла надеждой в моих безнадежных мечтах, Я прощаюсь с тобою, любя и уже забывая.

Владиславу Ходасевичу

Все глуше сон, все тише голос, Слова и рифмы все бедней, — Но на камнях проросший колос Прекрасен нищетой своей.

Один, колеблемый ветрами, Упорно в вышину стремясь, Пронзая слабыми корнями Налипшую на камнях грязь,

Он медленно и мерно дышит — Живет — и вот, в осенней мгле, Тяжелое зерно колышет На тонком золотом стебле.

Вот так и ты, главу склоняя, Чуть слышно, сквозь мечту и бред, Им говоришь про вечный свет, Простой, как эта жизнь земная.

Моему опщу

Ты встаешь из ледяной земли, Ты почти не виден издали, Ты еще как сон — ни там, ни здесь, Ты еще не явь — не тот, не весь... Стискиваю зубы. — Смерти нет. Медленно сжимаю сердце. Свет Каплями стекает с высоты. Явственней видны твои черты, Но слова твои едва слышны, Но глаза твои еще мутны, Будто между нами пролегло Аымом затемненное стекло. Смерти нет. Не может смерти быть. Надо все понять и все забыть. Страшное усилье. Страшный свет, Слабый звон... — Ты видишь, смерти нет!

* * *

* * *

Огромные, двуглавые орлы Средь вековой, среди российской мглы.

Безумный царь, в кольчуге боевой, Взнесенный над шипящею змеей.

В глухом бреду александрийский стих, Декабрьский ветр в пустынях ледяных,

И плач зурны, и крыльев легкий взмах, И слезы вдохновенья на глазах.

Надменный взгляд, скрипение пера — Как ловко мечут карты шулера.

О, как тяжел и холоден свинец Высокомерных и пустых сердец.

Усмешкою какой кривились рты, Когда ты навзничь падал с высоты,

Когда в грязи любовь, в крови снега, Под шпорой щегольского сапога,

Когда уже не изменить судьбу, Когда свинец в боку, мертвец в гробу. Иногда, из далекой страны, Из моей страны, из России, Как будто летя с вышины, Голоса долетают глухие.

* * *

Прислушиваюсь. — Слабый зов, Иль может быть плач или пенье... Но только не слышно слов, Шум мешает и сердцебиенье.

Но смысл, разве он в словах? Я все понимаю по звуку — Отчаянье их и страх И ненависть их и муку.

Я слышу их много лет (Теперь они глуше, чем прежде). В тьму из тьмы, я кричу им в ответ О гибели и надежде.

И сливается голос мой С голосами глухими народа Над его огромной тюрьмой, Над тесной моей свободой. Кричи не кричи — нет ответа, Не увидишь — гляди не гляди, Но все же ты близко, ты где-то У самого сердца в груди.

* * *

Россия, мы в вечном свиданье, Одним мы усильем живем, Твое ледяное дыханье В тяжелом дыханье моем.

Меж нами подвалы и стены, И годы, и слезы, и дым, Но вечно, не зная измены, В глаза мы друг другу глядим.

Россия, как страшно, как нежно, В каком неземном забытьи Глядят в этот мрак безнадежный Небесные очи твои.

Стихи о Соловках

Они живут — нет, умирают — там, Где льды, и льды, и мгла плывет над льдами, И смерть из мглы слетает к их сердцам И кружит, кружит, кружит над сердцами.

Они молчат. Снег заметает след — Но в мире нет ни боли, ни печали, Отчаянья такого в мире нет, Которого б они не знали.

Дрожа во мгле и стуже, день и ночь Их сторожит безумие тупое, И нет конца, и некому помочь, И равнодушно небо ледяное.

Но для того избрал тебя Господь И научил тебя смотреть и слушать, Чтоб ты жалел терзаемую плоть, Любил изнемогающие души.

Он для того тебя оставил жить И наградил свободою и лирой, Чтоб мог ты за молчащих говорить О жалости — безжалостному миру.

Медленно бредет людское стадо, Легкий жребий тяжело влача, — Рая нет, но и не будет ада, Грубый окрик, легкий взмах бича,

* * *

Это есть и это вечно было, — Труд и сон, а по весне любовь, Эй, Пастух, всей этой темной силе Хлев и корм и бойню приготовь!

Эй, Пастух, ты знаю не ответишь, Слушай же!.. — Но уж летят с высот Равнодушные удары плети, Злобно косится покорный скот —

«Вот еще один, порядок стадный Смеет, безрассудный, нарушать. Всех таких, чтоб не было повадно, Надо бы копытом растоптать»

Вызывая ужас и смех, Он грядет сквозь кадильный дым, Средь живых и средь мертвых всех Двенадцать идут за Ним.

Но каждый глядит тайком В окно, в Его вышину... — Но разве бросишь свой дом, Свой гроб и свою жену?

Не бросишь! — Распни Его, Осанна Ему в веках! — Отчаянье и торжество В мертвых Его глазах.

Прикинув и так и сяк, Душа успокоившись спит, А в кружке медный пятак Об ее спасенье звенит. Не пора ль развеять скуку — Медленно сжимая руку, Погрозить своей судьбе, Чтоб тоску рассеять злую, Горло перервать буржую (Или самому себе?..) Не пора ль, в конце бесславном, Стать рабам разумным равным, Жить и думать, как они, Напитав свою утробу, Завистью, деньгой и злобой Озарить пустые дни. Вдохновенье и мечтанье Сытым счастьем обезьяным Не пора ли заменить? Не пора ль прибавить жиру И, разбив о камень лиру, Камнем в небо запустить. Чтобы быть как все, как эти Темные и злые дети — Все предать и все принять И о жизни прошлой, смутной, О высокой, о беспутной Никогда не вспоминать.

Не стоило так долго жить, Так много знать, так много видеть, Чтоб виденное разлюбить, Любимое возненавидеть.

Не стоило. — Не возражай, Не спорь — ты знаешь цену слова; Себя надеждой не смущай И ложью не прельщай другого.

Средь темных душ, и слов, и числ В небесное глядись сиянье (Единственный быть может смысл!) Земное дли существованье

Не для того, чтоб что-то вдруг Понять или простить кому-то (Все прощено, мой нищий друг...) Но дли, чтоб отдалить минуту

Прощания, вот с этим всем Ничтожным и прекрасным миром, Где в шуме умолкала лира, Ненужная ему совсем.

Счастье 1956 го∂

Таисии Смоленской

I

Оттого, что я тебя люблю, Ласточку веселую мою,

Мой чудесный золотой цветок, Мой в аду не тающий ледок,

Мой глубокий вздох, мой легкий стон, Мой прекрасный, мой предсмертный сон.

Оттого, что я люблю тебя, Погибая и тебя губя,

Там, на запредельных высотах, В недоступно близких небесах,

Благостна, печальна и светла Божия улыбка расцвела.

П

Не знаю как, не знаю почему, Какими силами земли иль неба, Но ты со мною делишь корку хлеба И к сердцу приникаешь моему. И в смерти час, и в вдохновенья час Со мною ты всегда неотделимо, Все движется, все — мимо, мимо, мимо... Недвижно лишь твоих сиянье глаз.

Ш

И в сложности мучительной моей, И в простоте сияющей твоей,

В моем почти безумном вдохновенье, В твоем простом, как райской птицы, пенье,

Есть общность странная, есть тот же звук иль тишь,

Среди других их сразу различишь,

Какая-то чуть видная черта В морщине лба или улыбке рта,

Одна и та же слабость или сила — Она навеки нас соединила.

IV

Иногда мне кажется — ошибка, Столько раз солгавшая мечта, — Я совсем не тот и ты не та, Лишь кривая на губах улыбка.

Боже мой! — от века каждый знает, Чем кончается земная страсть, — Человек лишь для того взлетает, Чтоб вздохнуть, и крикнуть, и упасть. Но в ответ, не говоря ни слова, Может быть не слыша ничего, Ты глядишь, и нежно и сурово, В глубину безумья моего

И украдкой крестишь неземною, Легкой и горячею рукою.

V

Я знаю, исчезнет вот это печальное счастье, И ляжет на сердце уже ледяная рука, И страсти на смену придет неземное бесстрастье, И ветер сорвет лепестки золотого цветка.

Я знаю — исчезнет... Но что мне до исчезновенья, Когда ты живешь всем смертям вопреки и в ответ, Когда мне так сладко меж жизнью и смертью скольженье,

Сквозь ясность слепую и сквозь ослепительный бред. Мы, помнишь, читали — «одни поцелуи всесильны», Мы, помнишь, метались, друг друга по свету ища? Какое нам дело, что где-то есть сумрак могильный, И что у Распятья горит гробовая свеча.

VI

Ты отнял у меня мою страну, Мою семью, мой дом, мой легкий жребий, Ты опалил огнем мою весну — Мой детский сон о правде и о небе.

Ты гнал меня сквозь стужу, жар и дым, Грозил убить меня рукою брата, Ты гнал меня по всем путям земным, Без отдыха, надежды и возврата.

Меня Ты ранил жалом нищеты, Болезнями, и голодом, и жаждой, Я прозревал жестокие черты За каждой болью, за обидой каждой.

И нет конца — Ты мучишь вновь и вновь, И нет конца и нет тоске названья — Ты отнимаешь у меня любовь, Последнее мое очарованье.

Ее Ты мучишь страшною мечтой, Свой мертвый Лик к живой душе склоняя, Я вижу, никнет под Твоей пятой Мой золотой цветок, моя любовь живая.

Вот, тяжело встает моя душа Тебе наперекор, Тебе навстречу, Пускай едва жива, пускай едва дыша, Но вечная перед Тобой Предвечным.

И там, в Твоем аду, и здесь, с Тобой в борьбе, За все спасенье и за все блаженство, Вот эту страсть, вот это совершенство Моей любви не уступлю Тебе.

Быть может скоро, на закате дня, Иль на рассвете, на одно мгновенье, Увижу я, что все вокруг меня Нездешнее имеет выраженье.

Вокруг меня сольются ночь и день В каком-то небывалом сочетанье, И дрогнет мир и поплывет, как тень, В прозрачный свет, похожий на звучанье.

И я пойму, зачем из темноты Я вызван был на счастие и муки, И улыбнусь... Ко мне склонишься ты И на груди мне накрест сложишь руки.

* * *

Ты остался один — не надейся, не плачь, не гордись.

Ты напрасно родился, и сердце напрасно любило, Над тобою сияет тебя обманувшая высь, Пред тобою зияет, молчанием вечным, могила.

Наклонись над столом, над бесплодной пустыней листа,

На которой ты думал взрастить небывалые розы, Здесь от стужи и жажды твоя погибала мечта, Здесь она, задыхаясь, кричала мольбы и угрозы.

Ради нескольких ангельских слов, ради нескольких строк,

Ради темной мечты и безрадостной и величавой, Ты отдал свою жизнь — и уже приближается срок,

И тебе уж не надо ни слова, ни счастья, ни славы.

На земле умирает любовь, в небесах угасают лучи, Слышишь, ангел поет... — Замолчи, пожалей,

замолчи.

А все-таки всего страшнее гроб — На сердце лед и тление на лоб, И гвоздь, что будут в крышку забивать. И будет каждый горсть земли бросать, — За горстью горсть и за рукой рука, Глядишь, похоронили чудака, Который верил, и любил, и ждал, И о бессмертии стихи писал, И будет холм и деревянный крест, И тишина и пустота окрест.

Но, может быть, за этим будет свет, Который ты предвидел столько лет, И станут явью все земные сны, И все мечтанья будут свершены, И ты, моя любовь, и ты, моя звезда, Со мной соединитесь навсегда. Все может быть, все может сердце ждать, Когда оно не хочет умирать, И ожидая неземной полет, Оно страшится и оно поет...

Ты видишь, Муза стоит над тобою, грозя: «Есть много слов, которых сказать нельзя.

* * *

А самое страшное слово, оно в тебе — В твоих мечтах, и слезах, и в твоей судьбе.

Ты знаешь, давно это слово сказать пора — Поймать это слово, пронзить острием пера.

Но когда ты пронзаешь его, оно мертво, Потому что пронзаешь ты себя самого».

В. Ходасевичу

Страшно мне и горько в этом мире, Холодно среди могильных плит — Ты всю жизнь душой склонялся к лире, Жизнь ушла, а лира все звучит.

Страшно мне — в безвыходном покое, В ледяном безмолвии земли, В полустнившем гробе, слышишь ли Ты звучанье это неземное?

1944

* * *

Прости, если можешь, — недаром ты плакал ночами, Недаром томился, недаром надежда лгала... Лишь смерть не прощает, она за твоими плечами Косу поднимает и два раскрывает крыла.

* * *

Прости, если можешь, измену, прости равнодушье, Убийцу прости, если можешь, прости дурака, И страх, и дневную тоску, и ночное удушье, И черное дуло, что стынет, дрожа, у виска,

О, страшная стужа и жажда в пустыне безводной, О, крик безответный, похожий на плач или смех! Прости этот мир безнадежный, бесстыдный, бесплодный, В котором ты стал бессердечнее, может быть, всех.

Прощая, прощайся со всеми мечтами земными, Со всеми людьми и с любовью, сгоревшей дотла... Лишь смерть не прощает, она за плечами твоими — Печальна, правдива, крылата, бесстрашна, светла. Ты меня еще можешь спасти, но спасенья не надо, Ты меня еще можешь любить, но любовь уж не та, Избегай моего равнодушного, темного взгляда, Не касайся губами уже потемневшего рта.

Тот, кто много любил, должен тот умереть одиноко, Тот, кто много хотел, должен тот умереть в нищете, Все страшнее, все ближе дыхание смерти и рока, Все отчетливей призраки в черной встают высоте.

Все яснее сознанье, что сердце напрасно любило, Иль любило не так, иль не то, и что сердце мертво, Что надеждой твоей и любовью, мой ангел бескрылый, Ты смертельною болью напрасно терзаешь его.

* * *

Надоело мне все, надоело. Перечислим же все не спеша: И червям обреченное тело, И томимая Богом душа.

Надоели все те же вопросы, И любовь, что мне некуда деть... Из окурков крутя папиросы, Надоело на звезды глядеть.

Надоела посмертная слава, И прижизненный горький удел, Надоели и слева, и справа, Все, что знал я, и все, что умел.

И тупое бессмыслицы жало, И бессонницы мутная жуть... Завернусь с головой в одеяло, Постараюсь забыть и уснуть.

Где наше счастье, Любовь моя? — В разверстой пасти Небытия.

С судьбою споря, Так гибнет челн В пустыне моря, В пучине волн.

Так вихорь черный Срывает цвет У розы горной — И розы нет.

Так тает греза В предсмертных снах, И крест и роза В твоих руках.

Над телом милым Гнусавит поп, Кадит кадилом, И крестит гроб,

Кропит росою Воды живой, А смерть с косою, Над головой, Стоит, зевает В огонь и тьму И подпевает Она ему.

Где наше счастье, Где жизнь твоя? — В разверстой пасти Небытия.

Надгробное рыдание, На все вопросы ответ, Исполнены все обещания — Смерти нет.

Исполнились все моления, Все надежды и вся тоска... Какое страшное пение, Как глухо комья песка

На крышку падают гроба... Ты станешь скоро землей, Из праха ты вышел, чтобы В прах возвратиться свой.

О жизни, о вечной, пойте, О свете вечного дня... Заройте меня, заройте, Не мучьте больше меня. Саше Конюс

* * *

Если дважды два четыре — мной Понят строй небесный и земной.

Если дважды два четыре — я В тайны все проникнул бытия.

Мне добра и зла открылся смысл Силою непогрешимых числ.

Если дважды два... Но вдруг без сил Падая, я слышу шелест крыл,

Темное дыхание ловлю: «Дважды два равняется нулю». Луч зари позолотил окно, Утреннюю не затмив звезду... Это все обман — давным-давно Я живу в аду.

Я уже давным-давно привык К паукам Геенны, к свисту змей... Слизывает дьявольский язык Свет с души моей.

Я давно измучился вконец В мутных днях, которым нет конца... Медленно летит во мгле свинец В сердце из свинца.

И когда протянет руку друг, И когда глаза любви сверкнут, Все равно, не разорвется круг Сатанинских пут,

Лишь во сне, в тумане, вдалеке,Луч зари над золотом реки...И горит звезда в моей рукеИ не жжет руки.

Мне трезвый мир невыносим — Недвижность есть в его движенье, Пронизан мглой, пропитан тленьем. Безвыходной тоской томим,

Он мне невыносим. Люблю Божественное опьяненье, Оно подобно вдохновенью; Я звуки тайные ловлю,

* * *

Которые не знает мир. Я слышу: в темные законы Земли, в проклятия и стоны Вплетаются звучанья лир

Хрустальных. Сладки эти сны, Какое есть в вине раздумье... Самоубийство и безумье, Как часто им отвращены.

Чудесной влагою вина, В бездонной глубине стакана, Кровоточащаяся рана Уврачевалась не одна.

Лишь раб, трусливый и скупой, Не знает радости высокой — Свой трезвый мир, свой мир жестокий Оставить для мечты хмельной.

Лишь мудрому царю дано То, что безумцы не находят, — Он песни вместо войн заводит И вместо крови льет вино.

Цыганский сонет

Ты потерял годам и бедам счет, Ты все узнал, ты ничего не знаешь... Рокочут струны и цыган поет: «По ком, по ком ты слезы проливаешь...»

Ты жизнь свою поешь и пропиваешь, Запекшийся ты освежаешь рот Глотком вина, с тобою Муза пьет, Ее черты ты всюду прозреваешь.

И правдою становится обман, Рокочут струны и поет цыган, И горькие тайком струятся слезы,

И вдруг сквозь них ты видишь, что в углу, На каменном, затоптанном полу, Цветут неотцветающие розы. Остаться совсем одному и забыть, Что родился ты, чтобы любить, И в ожесточенье, и в дикой тоске (Стакан недопитый в руке)

* * *

Заплакать над жизнью погибшей своей, Над мутным мельканием дней, Над гробом своим, что, сквозь пьяный угар, Веселый стругает столяр.

Мы вышли ранним утром С тобой из кабака, Мерцала перламутром И золотом река,

Звезда еще сияла, С огнем зари борясь, И алым отливала У подворотен грязь.

И облако, укором Или надеждой мне, Божественным узором Летело в вышине.

И было в синей дали, Прохладе и весне Все то, о чем мечтали, Что видели во сне.

Белые ночи и черные дни... — Выдумка, бред скомороха... Черные ночи и белые дни... — Это ведь тоже не плохо.

* * *

Можешь сказать, что земля глубока, Небо чугунное плоско; Можешь сказать, что вот эта рука — Слепок из боли и воска.

Что б ни сказал ты в безумье своем, Будет все правдоподобно, Будет в слиянии яви со сном Мудрости Божьей подобно.

...Выгнав из логова, нужно принять Жизнь на рогатину смерти... Как бы вот это получше сказать?.. — Трудная рифма! — А черти

К рифме сбегаются, к строфам бегут, Ставят цезуры и точки, Плачут, смеются, ломаются, лгут! Литературные ночки

Злы, беспросветны. Уснули мечты, В сумрак глядя не мигая, — Где ты, мой Ангел Хранитель, где ты, Муза моя дорогая?

Мы будем пить, пока вино в стаканах, Мы будем жить, пока любовь в сердцах, Бессильны против любящих и пьяных Земная злоба, нищета и страх.

Налей вина, целуй свою подругу, Пиши стихи, когда душа светла, Ребенку улыбнись, дай руку другу И никому не делай в жизни зла.

* * *

И будешь ты в чудесном, пьяном мире Все отдавать и все взамен иметь — Пей до конца стакан на этом кратком пире За радость жить, за счастье умереть.

Весенний холод, уличка Парижа И кабачок знакомый на углу... Все дальше жизнь уходит, смерть все ближе, Все равнодушней я к добру и злу.

Конечно, зла старался я не делать, Но вижу, что не сделал и добра — Писал стихи, на острие пера Душа в слезах чернильных холодела.

Что эти слезы? — расплылись стихом, Читатель их какой-нибудь читает... А вот слеза, что по щеке тайком, Стыдясь скользит, мне душу обжигает. Никогда не услышишь... — И вдруг далеко, далеко, Ближе, ближе, сначала чуть слышно, как дальнее эхо, А потом, как ручей, что звенит между скал высоко, А потом, как касанье к щеке драгоценного меха.

* * *

Еле слышно, но вот уже ближе и громче, и вот Мир гремит, как оркестр, и, как ласточки, скрипки взлетают, И орган, как гроза, и о счастии арфа поет, И вдали барабаны трагический ритм отбивают.

Все печальней, все выше, все сладостней зовы трубы, Тихо флейты запели, валторны, виолончели, И волшебно легко распадается клетка судьбы И душа в этих звуках летит, как орлица в метели.

И тогда, о, тогда... — Но уже утихает струна, Глуше, дальше, как эхо, как сон, как погибшая слава — Тишина. Пред тобою немеет глухая стена, Над тобой потолок и в грошовом стакане отрава.

Любимая моя живет в Китае, В высокой башне обо мне мечтая.

И, может быть, она уже стареет... За годом год, за ветром ветер веет,

Раскосые кругом теснятся люди — Но нет меня, и никогда не будет У маленькой, у желтоватой груди. Горит звезда в пустынных небесах... О, сколько раз она уже горела И в небесах, и в прозе, и в стихах, — Какое мне до звезд до этих дело.

* * *

Одна звезда, в безумной вышине И в вечности своей невыносимой, Горит и опаляет сердце мне,

И вот встает, среди лучей и дыма, В сиянии любви первоначальной Твой детский лик, жестокий и печальный. Твой взор равнодушный и узкий, И зоркий в своем полусне, И счастье калмыцкое в русской Несчастной и дикой стране.

Соленые ветры, ненастье, Степная, безмолвная тишь... Любовь, что ты помнишь о счастье? Звезда, для кого ты горишь? * * *

Лунного света тоска и величье, Девочки дикие очи... Что-то есть легкое, синее, птичье В этой пленительной ночи.

Что-то есть райское и угловатое В детских плечах, и над ними Медленно облако голубоватое Тает в серебряном дыме.

А все-таки нет выше на земле Любви, которой не было ответа, Она одна бредет в вечерней мгле, Скользит, как луч уже иного света.

Она идет к мосту, а под мостом Струя к струе и в волнах волны тают, О счастии, что быть могло, о том, Что не было, они напоминают...

И между тем, что быть могло, и тем, Что есть, — стоят чугунные перила, Перелететь их не легко совсем, Но помнишь сны, в которых ты парила?

Вот ты летишь ко дну, но где же дно? Ты оттолкнулась от него пятою, Решеткою чугунною оно Уже почти невидною чертою

Отдалено от счастья твоего, От нежных струй, от этих волн поющих, Всегда свободных, никогда не лгущих, Преобразивших гибель в торжество. Звенят соловьиные трели, Цветет соловьиный сад, Качаются тихо качели — Вперед, назад...

Качаются в небе звезды, С запада на восток, Качаются розы — гроздья Роз — о, какой восторт!

Качается в небе счастье, Скрипят веревки качель, Плачет, в тоске и страсти, Соловьиная трель.

И ты, моя дорогая, В соловьином поешь саду — То звездою к звездам взлетая, То падая, как в бреду,

Ты летишь в соловьином небе, Задевая крылом траву... Был ли он или не был, Этот сон наяву? Выскользнула чаша дорогая Из твоих неловких рук, и вот В яме мусорной, где все кругом гниет, Черепки лежат в лучах сияя.

Помни, что хрупка любовь земная, Вот она разбита, но живет Память о любви, средь тлена и пустот, В вечности своей изнемогая.

Прощай — печальнее нет слова — Печальней и нежней. Прощай. Увидимся ли снова С тобой в стране теней?

Прошай. — Ты смолкла и угасла, А я еще шепчу: Прощай. О, как ты быстро гасла!.. И к моему плечу

Уже склоняется другая — В ее руке коса, А верность смотрит не мигая В пустые небеса

И плачет, и все шепчет, шепчет: «Прощай, прости, мой друг!» И все бесстыднее, все крепче Иных объятья рук.

Взглянул случайно на звезду, Что медленно встает с востока... Подобная огню и льду, Подобная моей жестокой

Судьбе, она горит в ночах, Божественной подвластна силе, И будут розы на могиле Моей сиять в ее лучах,

В красе, и в счастье, и в молчанье — И отзвук этих бедных слов Благоуханью тех цветов Даст еле слышное звучанье.

Подумай только, много есть в земле Камней, сияющих небесным светом, Но должен ты их добывать во мгле, Киркою бить и тосковать при этом.

* * *

Подумай только, много на земле Высоких душ, горящих горним светом, Но души гаснут в темноте и зле, И гибель уготована поэтам.

Но все же, ты ищи алмаз в земле, Гори, душа, в земной сгорая мгле!

Взгляни на небо — ни одна звезда С другой звездою равенства не знает, — Одна сияет, как осколок льда, Другая углем огненным пылает.

И каждая свой излучает свет, Таинственный, зловещий или ясный, Имеет каждая свой смысл и цвет И каждая по-своему прекрасна.

Но человек в безумии рожден — Он редко к звездам взоры поднимает. О равенстве людей клопочет он И равенство убийством утверждает.

1945

Стихи о бессоннице

В бессонницу, нарушив лад и строй Моей дневной души, сомкнувшей очи, Видения встают передо мной, Как звезды на покрове ночи.

В бессонницу видения души, Любви моей, надежды и печали Из нерушимой восстают тиши, Нисходят из небесной дали.

Они стоят вокруг меня кольцом, Вплотную к сердцу приникая, Я к Вечному тогда стою к Лицу лицом В бессмертной жизни возникая.

В бессонницу совсем я не похож На образ мой дневной, давно постылый, На грани сна и яви узкий нож С землей связующие жилы

Мне отсекает. И душа плывет, Свободная в паденье и во взлете, И глубоко глядит на звезд и молний лет, Им равная в своем полете. Как сердце взволнованно бьется В ответ на чужое биенье, Как звезды сияют чудесно В ответ на сияние глаз — Но сердце твое разорвется И станет добычею тленья, И звезды, в пучине небесной, Погаснут в назначенный час.

И будет одна иль другая Судьба у тебя в этой краткой, Бессмысленной жизни — в итоге Все судьбы пред смертью равны. Безжалостна правда земная, Беги от нее без оглядки В мечты о бессмертье и Боге, В безумье, в поэзию, в сны.

Стансы

Закрой глаза, в виденье сонном Восстанет твой погибший дом — Четыре белые колонны Над розами и над прудом.

И ласточек крыла косые В небесный ударяют щит, А за балконом вся Россия, Как ямб торжественный звучит.

Давно был этот дом построен, Давно уже разрушен он, Но, как всегда, высок и строен, Отец выходит на балкон.

И зоркие глаза прищуря, Без страха смотрит с высоты, Как проступают там, в лазури, Судьбы ужасные черты.

И чтоб ему прибавить силы, И чтоб его поцеловать, Из залы, или из могилы Выходит улыбаясь мать.

И вот, стоят навеки вместе Они среди своих полей, И, как жених своей невесте, Отец целует руку ей.

А рядом мальчик черноглазый Прислушивается, к чему — Не знает сам, и роза в вазе Бессмертной кажется ему.

Как летящая из сил последних птица Посредине ледяного океана С верной смертью продолжает биться Средь ветров, и стужи, и тумана.

Как должна она свое дыханье С силою своею соразмерить, Чтоб в себе преодолеть желанье Больше не бороться и не верить.

* * *

Что должно ей, этой птице, мниться В океане том необозримом... Так и ты, душа, должна стремиться К берегам своим недостижимым.

Найди такие сочетанья слов, Которых до тебя не находили, — И встанет явь из глуби смутных снов, Как Лазарь из смердящей гнили.

* * *

Найди слова — тебе поможет Бог Вдохнуть в них душу — и услышишь пенье, Найди слова, чтоб эту жизнь ты смог Преобразить хотя бы на мгновенье.

Все лучше и лучше, все выше и выше, И все точнее слова — А сердце бъется все глуше и тише, Бъется едва, едва.

* * *

Все выше и выше, все лучше и лучше, И все трудней и нежней — Об этой разорванной в небе туче Так скажи, чтобы вечно о ней,

Увидев ее, твоим сочетаньем Слов и размером твоим Говорили влюбленные в час свиданья, И радостно было им.

Чтобы, за правое дело, воин, Упав лицом к небесам, Был бы печален, но был бы спокоен — Верил твоим словам.

Видишь, какое в божественном слове Заложено торжество, — Но каждое слово, как капля крови Из сердца, из твоего.

И бьется оно, это сердце, все тише, Все глуше в твоей груди — Все лучше и лучше, все выше и выше, И немота впереди.

Стихи о мышах

Я ничего не знаю — (Не дано человеку знать) — Я медленно умираю, И страшно мне умирать.

Все безнадежней и краще Мои последние дни — Какое мне дело до ващей Мышиной, злой беготни.

И сколько кто заработал, И кто откусил от куска... У меня иная забота, Иная моя тоска.

Уже стоит мышеловка, Приманка так хороша, — Как молниеносно и ловко Отлетает от тела душа.

Вот оно смерти жало! Темнеет солнечный диск... Как краток, бессмысленен, жалок Мышиный, предсмертный писк.

И над этим мышиным страданьем, Над страшной мышиной судьбой — Заря, в розоватом сиянье, Звезда, в вышине голубой. Как эоловой арфы струны, Звенит в отдалении лес, Земля, бессмертной и юной, В объятьях лежит небес.

Я все это вижу, зная, Что мне не дано понять Этого ада иль рая— Ужас, смысл, благодать. Есть что-то дикое в моей судьбе, В ее парениях, паденьях, взлетах, В добра и зла таинственной борьбе, В ее путей вершинах и болотах.

* * *

Что делал я? Мечтал, работал, жил В Новочеркасске, в Киеве, в Париже, С друзьями о бессмертье говорил, Все что-то ждал... — А смерть все ближе, ближе.

Мечтал о счастье — Господи прости! — Модистка каждая о нем мечтает. Был долог путь, и вот, в конце пути Вся жизнь моя, как снег, меж пальцев тает.

Снег тает, за окном звенит капель, Ответа нет. Быть может, нет вопроса... Весною вечно расцветает хмель, И вечная дымится папироса.

О, дикая судьба, в тебе мое страданье Я в счастие преобразить не смог... И там, вдали, как сон воспоминанья... Вся жизнь, как дым. Остался только Бог.

Баллада

Жизнь есть сон... Плотин

Вся жизнь твоя глубокий, долгий сон Души, что спит в тугих объятьях тела, Она давно проснуться бы хотела, Но сон глубок и ночь со всех сторон.

И снится ей невероятный мир, Взнесенный мутною волной кошмара: Поет слепец, шумит Гвадалквивир, Рыдает сладострастная гитара.

И, подходя к безумному концу, Все потеряв и всюду побеждая, Солдат ребенка хлещет по лицу, А у ребенка щечка золотая.

Забудь, забудь... Но как забудешь ты Увиденное этими глазами, — Небесный луч, срываясь с высоты, Земными преломляется слезами.

В автомобиле мчится в ночь старик, Он весь распух от денег и от власти, Но никогда, ни на единый миг Старик не знал любви и не был счастлив. А под мостом от стужи изнемог Другой старик, другой тоской гонимый, И, чтобы он не отморозил ног, Дыханием их греют Херувимы.

Между мечей победный меч звенит, И слава над челом плывет героя, Но слышит он, как заступом стучит Могильщик, для него могилу роя.

Плывет корабль к безвестным берегам, И стаи птиц летят к далеким гнездам, Плывет самоубийца по волнам, Прозрачный лик подняв к высоким звездам.

Ты знаешь, как прекрасны поутру Гор голубых зеленые отроги, Зачем же ты спускаешься в дыру Подземной электрической дороги?

Зачем же ты... — «Но мне ведь надо есть, Я должен покоряться и трудиться...» Но на земле была благая весть О лилиях и о небесных птицах...

Проснись, проснись. — Уже похоже, что Ты просыпаешься. Но нет, все так же точно Часы стучат и небо налито Дождем, и дождь в канаве водосточной.

И длится жизнь — глубокий, долгий сон Души, что спит в тугих объятьях тела, Она давно проснуться бы хотела, Но сон глубок и ночь со всех сторон.

Когда этой жизни постылой Последние звуки замрут И наши заглохнут могилы И сорной травой прорастут,

* * *

Какие-то новые люди Вселятся в покинутый дом, Страдая и радуясь в чуде, Которое жизнью зовем.

Какие-то новые птицы И новые в поле цветы, И будет любить и молиться Какая-то новая ты.

И кто-нибудь, в оцепененье, В таком же почти полусне Услышит далекое пенье, Которое слышится мне.

И будут альпийские кручи Все в той же сияющей мгле, И будут ни хуже ни лучше Те люди на этой земле.

И полные веры и страсти, По нашим идя черепам, Получат то самое счастье, Что было обещано нам.

Искушение

Хочешь славы, хочешь денег, Хочешь лавров пышный веник?

Хочешь, чтоб труба гремела, Бриллиант жена имела?

Хочешь многолетья, власти, Сладкого земного счастья?

Хочешь, чтоб была награда? — Нет, спасибо, мне не надо.

Я никогда не пережил победы, Все только пораженья, пораженья... Все только горечь, горечь, беды, беды, Сны, ритмы, рифмы, головокруженья...

Они летят безумной, легкой стаей В пределы рая иль в пределы ада, Они летят страдая и мечтая, И ничего им на земле не надо.

И.А. Бунину

О земном богатстве и о власти Над землею мне не говори — Много надо человеку счастья, А земли всего аршина три.

Нам земля не много будет стоить, Значит, ни к чему богатство нам — Счастье наше самое простое, И оно подобно небесам.

Душа во мгле проснулась, И заскулил щенок, И, в облаках, метнулась Луна, куда-то вбок.

И дождик чуть закапал, И мутной пеленой Покрылся мир, заплакал Младенец за стеной.

Какая в мире слабость, Безвыходность, тоска... Бредет по лужам баба, Глядит на облака;

Мужик стругает палку Зазубренным ножом, Дымок струится жалкий Над скудным очагом.

И то сильней, то тише Дождь льется без конца На серенькие крыши, На нищие сердца.

Крестьянка очень любит кролика И холит бережно его, Немалая есть в сердце толика Любви, для кролика того.

И в час, когда заря румянится, И в полдень, и в вечерний час Охапка сладких трав достанется Ему, с улыбкой бабых глаз.

Хозяин очень одобрительно И добродушно поглядит, И сын его, неукоснительно, С ним утром поиграть спешит.

И сердце кроличье невинное Ответной нежности полно, Беззлобное и неповинное, Любовию живет оно.

Но в день рождения хозяина Иль в день, когда приходит гость, Крестьянка, утром, без раскаянья В глаз кролику вонзает гвоздь. И он висит безмолвный, плачущий Кровавой, страшною слезой; А сын, вокруг голгофы скачущий, На трупик поглядит живой

И облизнется в ожидании Обеда сытного, и вот, Уходит кроличье страдание В урчащий в сытости живот. Сияет солнце над моим Сервозом, На солнце набегают облака, И пахнет из коровника навозом, И пахнет эдельвейсами слегка.

* * *

И облака, что в ледяном эфире Блуждая, не нашли себе приют, К моим дверям, к душе моей и к лире В серебряном сиянии плывут.

Вот ночь пришла, и в месяце двурогом Небесная уснула тишина... О, этот кубок, поднесенный Богом, Я выпью с наслажденьем и до дна.

Вот ты идешь тропинкою в лесу, Скучая, папиросу зажигаешь И эту первозданную красу Вокруг себя почти не замечаешь.

А рядом Бог, и звери, и цветы — Ты ничего уже о них не знаешь — Змея на солнце греется, и ты Ее тяжелым камнем убиваешь.

Да, ты силен — в руке и палка есть, И камень твой так точно попадает — Но можешь ли ты белоснежно цвесть, Как этот ландыш, что благоухает?

В потерянном раю, к твоим ногам Он льнуть легчайшим стеблем продолжает, И та змея к нежнейшим лепесткам Свою главу прелестную склоняет.

Элегия

Зинаиде Верник

Выхожу я на закате В поле, через буерак, Васильки синеют в злате, В серебре алеет мак.

А вдали, как сновиденье, Как надежда иль мечта, Пушкинским стихотвореньем Пролетает высота. —

Больше ничего не надо, Лишь идти, идти, идти Меж цветов чудесных сада По чудесному пути.

Тихо запад розовеет, В сердце чисто и светло, И легко мне в очи веет Ночи звездное крыло. Альпинист стремится ввысь — не верьте Ни усилью, ни мечте его, Кроме льда, усталости и смерти Нет на этих высях ничего.

* * *

Не стремись к земным вершинам, силы Береги для тех иных высот, Где над бездной Херувим поет, Где парят Престолы, Власти, Силы.

Смотри, как медленно и плавно И величаво в вышине Орел стремит полет державный В ветрах и солнечном огне.

* * *

Смотри, на малое мгновенье Как бы внезапно изможден, Преодолев закон паденья, В лазури замирает он,

Чтоб камнем рухнуть на добычу, Что в страхе, в прахе залегла... Ты видишь, есть предел величью — Два в небе сложенных крыла.

Мазепа

...Казак на север держит путь, Казак не хочет отдохнуть...

Голубыми лучами печали и тайны Залиты сумасшедшие ночи Украйны.

И зашита измена в казачьей папахе, И топор серебром отливает на плахе.

И Мария, что гетмана любит седого, И судьба, что не знает исхода иного,

И на гибель казачья летящая лава, И Петром под Полтавой разбитая слава...

...Так в безумном полете, в безнадежной погоне Под кнутом задыхаются, падают кони.

Кровь и пена на Карла серебряной шпоре, И Анафемы рокот в Московском соборе.

Темный лик на озерной качается зыби — Выпей, царь, за любовь, за Марию, за гибель!

Спит Украйна и бредит, не может проснуться, — Старый Гетман, в Диканьку тебе не вернуться.

Зарастают дороги к забытому склепу — Ах, Мария, зачем полюбила Мазепу!

Стихи о Лермонтове

Есть скука и слава, шампанское, дикий Кавказ, Есть слезы скупые из гордых и сумрачных глаз.

Есть Зимний Дворец, и суров Государь во дворце, Есть отблеск нездешний на детском, усталом лице.

Есть мальчик шотландский, попавший в российский полон,

Есть остров Елены, где царствует Наполеон,

Есть все, что терзает, и мучит, и гонит, и гнет, Есть парус — но буря его на клочки разорвет.

Кремнист и туманен и труден твой путь на земле, Но слух мой лелея, твой голос не молкнет во мгле.

О, как ты несчастен, мой бедный, единственный друг, «А жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг»...

В кавказском ущелье на грудь наведен пистолет — Но смерти, мой мальчик, мой ангел, мой мученик, нет

Над Черным морем, над белым Крымом Летела слава России дымом.

Над голубыми полями клевера Летели горе и гибель с севера.

* * *

Летели русские пули градом, Убили друга со мною рядом,

И Ангел плакал над мертвым ангелом... -- Мы уходили за море с Врангелем.

Есть яма, которую ты не минуешь; Есть губы, которые не поцелуешь.

* * *

Далекая лира, которою бредишь, Отчизна, в которую ты не доедешь.

Над горем, которому нету начала, Над счастьем, к которому нету причала,

Горит в небесах, утопая глубоко, Недвижное, страшное Божие око.

Ты в крови — а мне тебя не жаль, Ты в огне, а я дрожу в ознобе... Ты жила во лжи, труде и злобе, Закаляла и сердца, и сталь.

Ты людей учила не жалеть И своих детей не пожалела, Ты почти что разлучилась петь, Помнишь ли, как раньше райски пела?

Как же мне теперь с тобою быть, С горькою моей к тебе любовью? Вновь земля твоя набухла кровью, Ран не счесть и горя не избыть.

Защищаясь сталью и хулой, Бьешься ты, кольцом огня объята, Страшное сияние расплаты Полыхает над твоей землей.

Страшная расплата за грехи, За насилие над человеком, За удары по сомкнутым векам, Вот за эти слезы и стихи. Мне тебя не жаль — гори, гори, Задыхайся в черных клубах дыма — Знаю я, что ты неопалима, Мать моя, любовь моя — умри!

Нет пощады, падай до конца, Чтобы встать уже весь мир жалея, Чтобы в мире не было светлее Твоего небесного лица! Я знаю, Россия погибла
И я вместе с нею погиб —
Из мрака, из злобы, из гибла
В последнюю гибель загиб.

* * *

Но верю, Россия осталась В страданье, в мечтах и в крови, Душа, ты сто крат умирала И вновь воскресала в любви!

Я вижу, крылами блистая, В мансарде парижской моей, Сияя, проносится стая Российских моих лебедей.

И верю, предвечное Слово, Страдающий, изгнанный Спас Любовно глядит и сурово На руку, что пишет сейчас.

Недаром сквозь страхи земные, В уже безысходной тоске, Я сильную руку России Держу в моей слабой руке.

1955

России

Люблю Тебя последнею любовью, И первою — ревнивой и одной; Моим дыханьем и моею кровью, Земной люблю Тебя и неземной.

Люблю Тебя в отчаянье и в счастье, В воспоминаниях, в надеждах, в снах, В раздумье, в восхищении и в страсти, В презренье, в гневе, в страхе и в мечтах.

Люблю Тебя напрасно, неумело, В величье, в рабстве, в громе и в тиши, Люблю Тебя движеньем каждым тела И каждым вдохновением души.

Не надо о России говорить — Не время, слишком поздно или рано... У каждого из нас есть в сердце рана, И кровь из раны не остановить.

Не жалуйся, не плачь, прижми к груди Ладонь, чтоб рана медленней сочилась, Любви не предавай, терпи и жди, Покамест сердце не остановилось.

Мы можем только донести любовь... И слаб герой, который в муке стонет. И так чиста сочащаяся кровь На медленно хладеющей ладони.

Стихи о троцкистах

«Мне отмщение и Аз воздам».

«Мне отмијение и Аз воздам...» — Под полом в Кремле скребутся крысы, Другу вождь подписывает сам Смертный приговор, и толстый, лысый

Секретарь, склонившись за плечом, Вежливо, зеленой промокашкой Подпись промокнет, слегка при том Жирною подергивая ляжкой.

Кремль... Подвал... — «Кричи, троцкист, кричи — Брат, прости...» — «На, получай, собака, Получил? — Ну, а теперь тащи Эту падаль в морг!» — Во мрак из мрака

Тащат, и мерцают на плечах Сорванные с мертвецов погоны... Белый воин в русских спит степях, Стихла боль, давно умолкли стоны.

...Мне отмщение!.. — И на земле, Как в аду, вам невозможно скрыться. Стынет сердце у вождя в Кремле, А под сердцем жаба шевелится.

Баллада о герое

Живет молодой человек Свой краткий бессмысленный век, Он честно жениться мечтает, Но денег ему не хватает, И вот, он на небо глядит И видит, как птица летит, Как звезды бессмертно сияют И аэропланы летают, И он, продолжая мечтать, Идет наниматься летать.

Гудит равнодушно мотор, В глаза ему смотрит в упор Полковник — опора державе. О жалованье и о славе Ему говорит он, и вот, Садится в кабинку пилот, Садится неловко и робко, Направо удобная кнопка, Налево стоит за плечом Архангел с подъятым мечом.

Неясно ему самому, Куда он, сквозь ветер и тьму, Летит и кого убивает, Но кнопку он все ж нажимает, И сразу — точна и легка, Срывается бомба с крючка И мчится, летать не умея, Быстрее, быстрее, быстрее На землю, чтоб там наконец Взорваться средь душ и сердец.

Как просто стать в мире героем. Опасно немного — но втрое Заплатят тебе за опасность. Какая невинность и ясность В злодействе, как просто рука Срывает погибель с крючка. И если, подбитый снарядом, Не рухнет он с бомбою рядом, Герой покупает домишко, Жена у него и детишки...

А баба картошку копала, Когда эта бомба упала.

Монблан

Он над разорванною тучей Сияет в золоте лучей, И равнодушный и могучий, Над миром страха и страстей.

И мудрое его молчанье, И голубая белизна, Как вечное напоминанье О том, что только вышина

И чистота бессмертны в мире — Все остальное мгла и дым, Как туча эта, что все шире, Все тяжелей ползет под ним.

Возникнет звук печальный и неясный, Умолкнет вдруг и снова зазвучит, И остановится на улице пиит, Прислушиваясь к музыке ужасной И сладостной... И вот запела мгла, Он музыке небесной подпевает — А смерть уже летит из-за угла, Автомобиль со стоном налетает.

«И врата ада не одолеют ее»

Бывают, конечно, попы, Епископы тоже бывали, Что не видели узкой тропы, Уводящей в небесные дали Серафимовские стопы... Разные есть попы...

Бывают архиереи, И даже митрополиты, Что в кадильной прелести рея, Над юдолью, слезами политой, Гордятся, в мантиях прея... Разные архиереи...

И патриархи бывали, Бывали римские папы, Что к власти тянули лапы, Многих святых унижали... Да простит им Господь, косолапым! Разные папы бывали...

Но, все-таки, люди эти Иного хотели счастья, И они — сквозь грехи столетий — До меня донесли Причастье.

Стихи о нищих

Ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть, Жаждал, и вы не напоили Меня... От Мф. XXV-42.

Может быть, Его ты встретил, Но увидев — не заметил.

Видел — нищий шляпу тянет, Жалостно, с надеждой взглянет.

Бросить грош или не бросить? Пьяница, бездельник просит!

Бросил — и пошел спокойный, Уважаемый, достойный...

Бедный раб, ехидной крови! Сквозь земную мглу и гул

Не увидел ты сокровищ, Что тебе Он протянул.

Святой Франциск Ассизский

Надо оставить гордыню, свободу, надежды, Надо уйти в глубину беспросветную ночи, Надо до дыр, до лохмотьев сгноить дорогие одежды,

Надо проплакать до крови бессонные очи.

Надо, чтоб в вере сгорело ненужное знанье, Закаленное сердце чтоб стало подобное стали, Надо все это, чтоб плоть превратилась в сиянье, Чтобы лохмотья небесною ризою стали.

Святая Таисия

Из дремучих лесов, из древней Руси — Иисусе Сладчайший спаси! — Из зыбучего морока финских болот, Где антихрист поставил оплот, Из горящих и Богом любимых скитов, Аввакумовских райских садов, Из-под диких ударов безумья и зла Ты, святая, ко мне подошла.

За Тобою египетских знойных пустынь Раскаленная, мутная синь, За Тобою российские лютые льды, На которых Христовы следы, За Тобою распятье, крещенье, лучи И монголов кривые мечи, За Тобою, в полярных ветрах, Соловки, Ледяные подвалы чеки.

От Тебя отступилась небесная рать. Но мне сладко с Тобой умирать.

Плащаница

Преклонись пред безмерным страданьем, Перед страшною тайной любви — Вот Ж е н и к, что пришел на свиданье, Почивает в цветах и крови.

Преклонись пред святой Плащаницей И заплачь, и в мерцанье огней Ты увидишь — Архангел, как птица, С криком жалобным вьется над ней.

Осталось немного — миражи в прозрачной пустыне,

Далекие звезды и несколько тоненьких книг, Осталась мечта, что тоской называется ныне, Остался до смерти короткий и призрачный миг.

Но все-таки что-то осталось от жизни безумной, От дней и ночей, от бессонниц, от яви и снов, Есть Бог надо мной, справедливый, печальный, разумный, И Агнец заколот для трапезы блудных сынов.

Из нищей мансарды, из лютого холода ночи, Из боли и голода, страха, позора и зла Я выйду на пир и увижу отцовские очи, И где-нибудь сяду, у самого края стола.

Горбун

Идет горбун, несет свой горб, свое Ничем не поправимое уродство, Искривленное Богом бытие, Уродливое с ангелами сходство —

Начало крыльев... Ковыляет он Униженный, озлобленный и слабый. Лишь иногда, уже почти сквозь сон, Его горба рука прохожей бабы

На счастие коснуться норовит... Сверкнет горбун прекрасными очами И покраснеет, и уйти спешит, Стыдясь небесной ноши за плечами.

И ты, мой друг, похож на горбуна — В твоих стихах гармония звучала — Но не забудь, что и его спина Есть крыльев улетающих начало.

Не только баба — каждый в мире ждет Полет, где начинается свобода. И в муке начинаешь ты полет, Но крыльев нет, есть только горб урода.

Осень

Поменьше слов, поменьше суеты... В лучах заката дни неслышно тают, За окнами осенние цветы Безмолвно и бесстрашно умирают.

И мертвый лист слетает, чуть шурша, На золотом покрытую дорогу, — Как осень несказанно хороша, Как смерть близка к бессмертию и Богу.

И жизнь твоя цвела, как жизнь цветов, И вот теперь она клонится долу, К сырой земле, к Господнему Престолу, Окованному золотом листов.

Ангел Смерти

1

Верьте мне — иль все равно — не верьте, Недоверье правды не порочит — В Час ко мне спустился Ангел Смерти, В тишине сиянья полуночи.

2

И сказал: «Я прихожу на помощь Всем замученным и всем несчастным, Жертвам всем мое лицо знакомо, Палачам знаком мой лик ужасный.

3

Только жертвам смерть легка, блаженна, На Кресте, в подвале иль на плахе, Лишь злодейство, низость и измена Заживо гниют в зловонном прахе.

4

Я услышал между песен темных, Что летят от ада и до неба, Что тебе, среди богатств огромных, Не хватает ни любви, ни хлеба. Знаю я, что чернь тебя изгнала Из твоей страны — с полей любимых, Ты прости — она не понимала, Бесновалась во крови и в дымах.

6

Отстрадал ты все свои страданья И глаза бессонные проплакал, Голос твой, угрозы и рыданья До Престола донеслись из мрака.

7

Послан я к тебе тебя утешить, Положить на самом легком ложе, Там уже ни унижать, ни вешать Никогда, никто тебя не сможет.

8

Я пришел, склонись в мои объятья, К сердцу моему прильни главою — Человек и Ангел вечно братья, Есть один у нас Отец с тобою.

9

Я суров, темна моя порфира, Моего меча ужасно жало, — Но не бойся — все страданья мира На Голгофе сердце отстрадало!»

Я ответил: «Я дождался взгляда Глаз твоих и крыльев дуновенья, Но оставь мне малый срок, мне надо Богу дописать стихотворенье».

11

Улыбнулся мне мой Ангел Смерти И исчез в сиянье полуночи... Верьте мне — иль все равно — не верьте, Недоверье правды не порочит.

стихотворения 1963 год

Звук предшествует Слову, Как Иоанн Предтеча Христу. Звук друг Смысла, Как Иоанн друг Жениха. Горит зеленая звезда
— У Божьего подножья —
Горит и канет без следа...
Я раньше кану тоже.

Как странно, что звезда и я — У Божьего подножья — В различных сферах бытия Почти одно и то же.

Все проходит, легкой струйкой дыма Поднимается в незримый свет... Но тоска моя непроходима, Лес дремуч и потерялся след.

Может быть, тоски уже не будет В сердце, возвратившемся во прах, Но вовек тоска моя пребудет В на земле оставшихся стихах.

Заблудившееся в этом мире Вдохновенье горькое мое В сладких звуках, в беспощадной лире Позднее познает бытие. Аюбовь, любовь. — Как будто в райском сне Своей судьбы ты ждешь преображенья, Но вся любовь твоя, мой друг, ко мне Вот этих рук не остановит тленья.

Но в тлении нетленное любя, В бессилии, в слезах, в глубинах мрака Ты с глаз, уже не видящих тебя, Сотрешь слезу, чтоб больше я не плакал.

Я любил на земле Свободу, Одиночество и стихи, Голубую в озерах воду, Изумрудные в скалах мхи.

* * *

Я любил в небесах бездонных Ледяное сияние звезд, Нищих, изгнанных, оскорбленных Я любил, и неслышный рост

И цветение белой розы, Что цвела под моим окном, И незримые миру слезы, И мой разрушенный дом.

И вот — Свобода, как знамя, Была мне дана, и над ней Одиночества тихое пламя Сияет в венце лучей.

А стихи... сколько раз я плакал, Ничего не умел, не знал, Но свет из звездного мрака На мою строку упадал.

И волны меня обнимали, И скалы альпийские жгли, И нищие целовали, И розы у окон цвели.

Вот Бога великая щедрость! На любовь Он мне дал ответ — И в награду — такую бедность, Богаче которой нет.

Памяти Нины Фрид

Ты склонила мертвую головку
— Жизнь и смерть остались позади — И уже по-ангельски, неловко,
Ты сложила руки на груди.

Ряд кроватей, страшный запах морга, Сумрак, что затмил твою зарю... Я сквозь слезы горя и восторга На тебя нездешнюю смотрю.

Почему ты кажешься нетленной, Мертвая лежа средь мертвецов, Почему мне стало несомненно То, что выше разума и слов?

Несомненно — в незакатном свете — Наяву, а не во сне! — Ты ко мне протянешь ручки эти И как прежде улыбнешься мне.

Несомненно — смертное томленье, Слабым криком искаженный рот Были лишь началом воскресенья, К вечности тяжелый перелет.

Вот крылами прорастают плечи Под больничной серой простыней... Дай тебя я перед вечной встречей В лобик поцелую ледяной.

Все мы пред тобою виноваты, Все мы слепы, глухи и грешны, Всем нам нет прощенья, нет возврата — Но тобой мы будем прощены.

Голубые горы в тумане, Розоватая мгла зари... Душа никогда не устанет Смотреть — и еще смотри —

На это дикое чудо, На эту земную плоть, Которую светом оттуда Благословляет Господь. По этим предгорьям ходила когда-то Жанна И слышала голоса... Все в мире чудесно, таинственно, дико и странно, Вот как этой зари сейчас несказанна Кровавая полоса.

Умер друг — не плачь, душа, не надо... Умер друг — но почему ж я плачу? Ничего не знаю я, не значу В тайнах смерти, жизни, рая, ада...

* * *

Почему твоей руки из воска Мертвой, вечной, страшной не коснуться? Ты мечтал — Империя, березка... Но мечтам к могиле не вернуться.

Помнишь, говорил мне: «Здравствуй, Коша», Пил со мной из одного стакана, Тяжела была земная ноша, Горек хлеб, неисцелима рана...

Господи, не надо смрадной гнили, Тяжести, безумия, сомненья: Знаю — нет тебя в твоей могиле, Верю в славу, вечность, воскресенье.

Помолчи, все это очень просто — Жизнь и смерть — струна, что рвется в лире, Крест на дальнем, как мечта, погосте И звезда, горящая в эфире.

Г. И.

Тихо, тихо тает высь... Помолчи и помолись.

* * *

У кладбищенских ворот Молча воскресенья ждет

Друг, его похорони, Голову пред ним склони,

Помолись о том, чтоб он, В вечности преображен,

Вспоминая и любя, Помолился за тебя.

Я вижу — Муза стоит надо мной в слезах: «Ты знаешь, что все на земле нищета и прах,

* * *

Ты знаешь, что все навсегда на земле умрет, Что в дикой улыбке безмолвный застынет рот,

Что не знаешь ты ничего о душе своей, О загробном безмолвье, о страшной стране теней.

Ты все это знаешь — всю эту правду иль ложь, Но все же порою ты песни сквозь слезы поешь.

Пусть жизнь безнадежна твоя и страшна и пуста, Но ты иногда целуешь меня в уста».

Подымись — если сможешь, — взлети, Все преграды разбей на пути, Разбивай их рукой иль крылом, До вершины прорвись напролом — Над вершиною небо опять, — Но уже не воротишься вспять.

Опустись — если сможешь, — пади, Станет пусто и тихо в груди, Будет боль на мгновенье одно, Будет черное гладкое дно, Об него ты преткнешься пятой — Но потом будет вечный покой.

Борису Пастернаку

Товарищу, горящему в ночи Печальным и единственным сияньем... Железный занавес твои лучи Смогли пробить. Какая мощь страданья!

Какая безысходная тијета В твоем тобой любимом Подмосковье! Но с дачи подмосковной, как с креста, Стекает боль мечтою и любовью.

Товарищу... О, как бы я хотел Сказать — мой друг. Но это так опасно! Моя любовь тебе плохой удел, Я не хочу, чтоб ты страдал напрасно.

Достаточно твоих страданий, друг. Они равны твоей всемирной славе, Ты посмотри, какая ложь вокруг, Какое зло твоей Россией правит.

Господь с тобой. Страдай, мечтай, владей Почти нечеловеческою силой Писать о жизни, о сестре твоей, Над братскою бескрестною могилой.

Над рукописью небывалой Поэт склоняется челом, А сердце расцветает алым Колючим огненным кустом.

Он то шипами, то цветеньем Касается груди его, Рождая боль и восхищенье, Отчаянье и торжество.

Изнемогая в сладкой муке, В груди превозмогая стон, На сжатые бессильно руки Склоняется все ниже он.

Небесный цвет не воплотится — Но отражение легло На затемненную страницу, На просветленное чело...

Никогда со мною ты не будешь, Даже в смертный час, в последнем вздохе. Как живого, мертвого забудешь; Имя славой, а могила мохом

Прорастут, а ты все будешь где-то В пустоте, безмолвии, незнанье... Счастьем не смогла ты стать поэта, Все ж смогла ты стать его страданьем.

Ты молчишь. Безмолвной пустотою На мое ты отвечаешь слово. Любишь ты любовию простою Смертного, счастливого, немого.

Я не смертен, я несчастен, голос Мой летит к тебе, но даже эха Нет в ответ — и счастье раскололось — В скалах ни рыдания, ни смеха.

Тишина. Но смутное виденье Все ведет меня по струнам звука. И звучат, уже в преображенье, Смерть как жизнь и счастие как мука.

Это все любовь. В какие бездны, На какие страшные высоты Силой этой рифмы бесполезной Долетят тяжелые полеты. Страхом, грязью и кровью — Боже мой, почему — Что мне делать с любовью, Как прорваться сквозь тьму?

Что мне делать с душою, Что замучили вы Ненавистью — и какою! — Так плененные львы,

Так Иванов на юге, Так на севере Блок, Так и мне на досуге Этот страшный стишок.

Не прощаю — простите — Не прошу никогда... Улетайте, летите Эти строки туда,

Где и христопродавец (Грязь и кровь на снегу), Где последний мерзавец... — О, прости, не могу...

В центре страшного круга, Крест сжимая в руке... В губы — мертвого друга, А врага — по щеке. Для греха, страдания и смерти Я родился на земле унылой, И торчат года мои, как жерди, Между колыбелью и могилой.

Оглянулся — сколько их в пустыне Мутной моего воспоминанья: Зло, тоска, беспомощность, гордыня, Страшные надежды и мечтанья.

Впереди еще страшней, быть может. Видишь, крест чернеет на погосте — Это твой. И червь в могиле гложет Добела обглоданные кости.

Червь небытия и сладострастья... Или мне все это только снится? Боже мой, я должен был родиться Для бессмертья, святости и счастья.

В обещанье Божьем нет обмана — Почему же, что ж это такое?.. Сердце у меня сплошная рана, А над раной небо голубое.

Играй, играй, цыган проклятый, Пой, неизбывная тоска, Стакан вина, в руке зажатый, Сияет и дрожит слегка.

* * *

Гитары томные напевы И голос Маши неземной... Друг или враг, садись со мной И пей, и слушай голос девы.

И знай, что на путях земных Бывают странные свиданья, И прозревай миров иных Вот в этом кабаке сиянье.

Так до конца идти не перестану В недоуменье, из последних сил, Когда-нибудь прилягу и не встану, И даже не пойму зачем я жил.

* * *

Прибавится морщин на лбу высоком Больного друга и у глаз жены, Останутся оборванные строки Моих стихов — кому они нужны?

И это все. Так страшно и так мало. В такой тоске прожить так много лет! Какой бессмысленный и жалкий бред... О как душа бездомная устала!

Ничего не хотеть, ни о чем не жалеть, Лечь на землю и в черное небо глядеть. Встала в небе луна и ушла. Мир уснул, и лягушка рыдает вдали, Легким инеем звезды на землю легли... Ты на сердце мне камнем легла.

Солнце

Таисии Смоленской

Оно похоже на лицо японца, Расплавленное в адовом огне... Я не люблю полуденного солнца, Оно томит и жалит сердце мне.

Люблю закат, его очарованье, Преддверье надвигающейся тьмы, Он в красоте сгорает и в страданье, В сиянье полусвета, полутьмы.

И два луча, с небес к земле срываясь — Кроваво-красный, темно-голубой, — Не разделяясь, не соединяясь, Как ты со мною и как я с тобой.

В Вифлееме Младенец родился — Много прошло веков. Где звезда, что вела Волхвов? Где пастух, что у яслей молился?

...Когда поймешь, что все на свете ложь, — Лишь смертная правдива в муке дрожь, — Что мертвый лик воистину красив, Что только мертвый рот красноречив, Тогда ты замолчишь и будешь ждать, Чтоб смерть сняла с молчащих губ печать.

* * *

Когда останусь совсем один — Покинут меня и жена, и сын, Друг отвернется, товарищ предаст, На расстрем Россия меня отдаст И в глазах уже больше не будет слез, — Я увижу крест, на кресте Христос.

* * *

Он пробитую руку от креста оторвет, Чтоб коснуться моей груди, И опять тот же гвоздь Его руку пробьет, Для тех, кто еще впереди, Для тех, чьи сердца в слезах и огне. И никто уж не сделает больно мне.

Элегия

Еще я продолжаю жить Безумно и однообразно, Еще, скользя, не рвется нить Меж пальцев парки безобразной.

Еще я кое-что люблю И иногда еще мечтаю, Работаю, гуляю, сплю И книги иногда читаю.

Но что-то в самой глубине Во мне прошло иль изменилось, На жизни медленном огне Сгорело и испепелилось.

И будто сам себе чужой Смотрю, почти без содроганья, На потемневший образ мой И слышу парки бормотанье.

Черное море шумит у пустых берегов, Темные волны летят на высокие скалы, На берегу остановится путник усталый, Смотрит на волны, на мутные гребни валов.

* * *

Капли соленые тихо плывут по лицу — Так же как я, ты бессильна, слепая стихия, Так же как я, ты в пучины вернешься глухие, Грозное море, и ты возвратишься к концу.

России

Ты мне нужна, как ночь для снов, Как сила для удара, Как вдохновенье для стихов, Как искра для пожара.

Ты мне нужна, как для струны Руки прикосновенье, Как высота для крутизны, Как бездна для паденья.

Так для корней нужна земля, А солнце для лазури, Ты мне нужна, как воздух для В громах летящей бури,

Нужна как горло соловью, Как меч и щит герою, Нужна в аду, нужна в раю, — Но нет тебя со мною. И не прощенно, не раскаянно, В гордыне, ужасе и зле И в страхе бродит племя Каина По русской авельской земле.

Ирине Туроверовой

А у нас на Дону Ветер гонит волну Из глубин голубых в вышину, И срываясь с высот, Он над степью плывет, И тогда степь как лира поет.

И выходит казак
На порог, на большак,
В всероссийский безвыходный мрак.
Сердце в смертной тоске,
Сабля в мертвой руке
И кацапская пуля в виске.

Средь цветущих садов Бедный рыцарский кров, Подожженный руками рабов, Полыхает в ночи, Отзвенели мечи, Замутились донские ключи.

Но подобный орлу, Прорываясь сквозь мглу, Не подвластный ни страху, ни злу — Медный крест на груди — Дон в крови позади, Дон небесный еще впереди.

Живем томительно, в труде и скуке, Таим надежду и не верим ей, И все бессильней опускаем руки И любим безнадежней и сильней.

И сердце тяжелеет год от году. Мы стали проще, злее и скупей, Мы щедро заплатили за свободу, Но разве знаем мы, что делать с ней?

И мы поймем бессмысленность мечтанья — Нам нет спасенья и прощенья нет. Томительный и жалкий звездный свет Не нужен в темноте существованья.

Когда-то ты писал стихи, В их призрачную силу верил, Безумье, святость и грехи Ты Словом взвешивал и мерил.

Ты мог услышать звон звезды, Увидеть, глаз не открывая, И ада огненные льды, И тихие долины рая.

И на оборванном листке Души записывая пенье, Ты верил, что в твоей руке Бессмертье и преображенье.

И как бы ни томился ты В безвыходной земной печали — Утешься! И твои мечты Земную жизнь преображали.

Слово

Б.К. Зайцеву

Оно сияло от века, До века его звучанье, На немых губах человека Возникло оно из молчанья.

От начала первого звука До дантовского сонета, Какое усилье и мука — Волны мрака и света.

От темного косноязычья До лермонтовского пенья, Какое было величье, Вдохновенье, воля, терпенье.

Торжествуя, падая снова, Пробиваясь к новому в старом... — И это страшное слово Тебе отдается даром.

Оно то громче, то тише Губы твои обжигает — А голубь воркует в нише, Ничего о слове не знает.

Таисии Смоленской

1

Есть черной стрелой в поднебесье подбитая птица, Есть мутная тень, что ночами бессонными снится. Есть дьявол, есть гибель, есть сердце, что в гибели стынет.

Глаза голубые, что плачут в больничной пустыне. Есть легкое тело, лежащее в тяжком страданье. Есть свет, что сияет в бессмертии воспоминаний, Есть сердце, что бъется и стонет в безумном

усилье,

О, взмах белоснежных — уставших, страдающих крыльев!

О, бедная Тася, ты плачешь, ты любишь страдая, Дай в вечности губы, мой ангел, моя дорогая. Да будет за все, за страданье, за гибель награда — Бессмертье с тобой — мне иного бессмертья

Слышишь, Тася — любовь — что поет до скончания мира

Перерезанным горлом и полуразбитою лирой.

1960

Перерезали горло, Бьют в несчастное сердце, Душат бедную душу мою, — Нету рифмы на сердце, Нету рифмы на горло, Но я все же пою и люблю.

Дай мне, Господи, силы, Дай мне, Господи, слабость, Чтобы ясно и просто сказать — У преддверья могилы — Что бессмертье и радость У любви никому не отнять.

Неправильные ритмы

Выйди в полночь в цветущий сад — Жить, когда уже не стало мочи, — Звонко созвездия зазвучат В гулких глубинах ночи.

И в сердце — в мечтаньях твоих ночных, Летя, блистая крылами, Зазвучит, еле внятно, чуть слышный стих Еще немыми словами.

Но вот все яснее слова звучат, Все явственней, все нездешней. Выйди в полночь в цветущий сад, Звезды все ярче, ночь все кромешней. Какая-то любовь не удалась И не сбылась какая-то надежда, В окне туман и на панели грязь, А в книге мысль ученого невежды.

* * *

Брось книгу на пол, отвернись к стене И чувствуя тоску и холод в теле, Уже сквозь сон, подумай о весне, Которая придет в конце апреля.

Ты будешь ли еще смотреть в окно, Иль будешь ты уже лежать в могиле, — Участвовать ты будешь все равно В ее красе и радости и силе.

Диалоги

1

Обглоданные нищетой старухи, Забитые нуждою старики, Уроды идиоты, потаскухи, Калеки без ноги и без руки

Тебя несчастней во сто крат, быть может, Не во сто крат, ну скажем, раза в два, Тоска, что сердце им, несчастным, гложет, Коснулась сердца твоего едва.

Их боль сильней, неизлечимей раны, Быстрей их жизни оборвется нить. Благодари же Бога! — Друг, мне странно За боль мою Его благодарить.

— Вот осталось мало жить, Не о чем тебе тужить, — Прожил жизнь и слава Богу. Что ж ты накопил в дорогу? Что же ты с собой возьмешь? Что в бессмертье донесешь?

«Я возьму любовь и веру И стихи». — Оставь, не в меру Ты берешь! — стихи оставь. Пусть среди людей и трав, Радуясь, изнемогая, Смерть твою превозмогая, Пусть они живут мечтаньем, О тебе воспоминаньем.

Между жизнью и смертью прослойка — Ледяная больничная койка.

Капельки крови и гноя, Бытие почти неземное.

Исчезло уже страданье, Бытие почти как мечтанье.

И победное смерти жало — Не конец уже, а начало.

1961

* * *

Какое сердце, душа какая! А умирает один, икая.

* * *

Как безобразна, невероятна Смерть, и какие на смерти пятна!

Но не надо верить ни цвету, ни звуку, Надо прорваться сквозь эту муку.

Слышишь сквозь стон неземное звучанье? Видишь, сквозь язвы брезжит сиянье?

На смерть Бориса Поплавского

Ты умер. А все как было, Как будет во веки веков. Как медленно сердце стыло, Как землю душа любила, Земной покидая кров,

Как судорогой невыносимой Пересохший сводило рот... Слетают к тебе серафимы, А друг твой твоей любимой Рассказывает анекдот.

Слетают к тебе надежды, Не сбывшиеся на земле. Смерть смыкает усталые вежды. Как тускло твои одежды Сияют в предвечной мгле.

Теперь ты все понял, все знаешь. Теперь уже боль прошла. Ты облаком легким таешь, Ты синим огнем истлеваешь, Ты два раскрываешь крыла.

Прости (ты теперь все можешь), Что в эту долгую ночь К тебе не пришел я тоже, К твоему не склонился ложу И ничем не сумел помочь. Ты знаешь: мы все одиноки, Каждый в своей судьбе. Друг мой ласковый, друг мой далекий, Прими эти бедные строки, Последний привет тебе.

1935

Я слишком поздно вышел на свиданье — Все ближе ночь и весь в крови закат, Темна тропа надежд, любви, мечтаний, Ночь все черней, путь не вернуть назад.

* * *

Я заблудился в этом мраке душном, Глаза открыты — не видать ни зги, Кружит звезда в эфире безвоздушном, О Господи Распятый, помоги!

Я стал немым, но лира плачет в мире, О Господи, дай смерть такую, чтоб В гробовой тьме я прикасался к лире, Чтоб лирой стал меня объявший гроб. * * *

…Но нет его, небесного свиданья, В котором ты и я — уже одно. Ты видишь, в глубине темнеет дно И вот уже настало расставанье.

- О гибели страны единственной,
- О гибели ее души,
- О сверхлюбимой, сверхъединственной В свой час предсмертный напиши.

стихотворения, опубликованные в газете «Возрождение»

Пепел в очаге остынет, Сон растает, жизнь исчезнет, Птицей перелетной сгинет В синей и холодной бездне;

Память о минувшей страсти, Память о минувшей боли, Память о небывшем счастье Ветер разметает в поле.

И в ночи глупец беспечный, Попирая прах ногами, Будет петь о счастье вечном Под пустыми небесами.

Широкий, легкий бег коня, Прозрачный лед, что бьет звеня Об оснеженные копыта, Свобода, молодость, любовь, Горячая, как солнце, кровь И счастье, что кругом размыто.

Скачи, скачи во весь опор, Вперяя восхищенный взор В раздвинутые дали эти, На подвиги и на борьбу Слепую подгоняй судьбу Ударами шелковой плети.

Во весь опор, вперед, вперед, Тебя в высоком доме ждет Веселая твоя подруга, И будет пьян вина глоток, И будет легкий сон глубок, А сердце верно и упруго. Мне очень трудно одному, Наедине с самим собою, Как в зеркало смотреть во тьму, В ней различать лицо другое.

И этому — другому — в мгле (О, знаю, самому себе же) О темной говорить земле Сквозь слезы и зубовный скрежет.

И видеть, как сквозь лунный свет, Из тишины глухой и душной, Он улыбается в ответ Презрительно и равнодушно.

п р о з а



Воспоминания

Не помню, когда я в первый раз встретился с Буниным. Я не помню, когда в первый раз я пожал его маленькую, сухую руку. Помню Монпарнас, где мы тогда, изгнанные из России поэты, встречались, спасая себя от одиночества и пытаясь еще стихами что-то спасти.

Помню, приходил он к нам — еще не нобелевский лауреат, но уже, в нашем сознании, особенный, единственный. Одевался он под английского лорда. Было в нем что-то от героя Жюль Верна, от благородного и честного искателя. Искал ли он свою погибшую Россию, последние ее поэтические мечты, затерянные на парижском Монпарнасе, или, может быть, на высотах своего искусства и славы был он так же одинок, как и мы (одинокий спасается среди одиноких)? Не знаю. Но помню его сидящего среди нас в Dom'e или в Select'e, всегда веселого, дружественного — первого среди равных.

Любил он все «первоклассное». Помню, как-то сказал он мне: «Пьете вы здесь всякую дрянь! Угощу вас хорошей шведской водкой». И повез меня в какой-то шведский бар, в котором его знали, так как бармен назвал его Mr. Bounine. Водка была действительно хороша.

Летом 1935 года жил я с женой в Каннах. Был я тогда молод. Любил плавать. Любил заплывать далеко, чтобы не было видно берега, ложился на спину и плыл между морем и небом. Сочинял стихи, но записывать их было, конечно, нечем. Казалось мне тогда, что для того, чтобы быть поэтом, нужно быть каким-то особенным, «не как все», но не понимал я, что для того, чтобы быть поэтом, совсем не надо заплывать далеко в

море и, с риском утонуть, сочинять стихи, которые нечем записать.

Жил в то время в Каннах художник Георгий Пожидаев. Написал портреты Бунина и мой. Оба они до сих пор висят у меня на стене. Мне мой портрет очень понравился. Был я изображен на нем гораздо красивее, чем я был на самом деле. Бунину его портрет не понравился. «Похож я здесь, — говорил он мне, — на старую индианку». Так и не захотел взять портрета. Почему и висит он над моим письменным столом. Иногда смотрю на него и думаю: «Да, конечно, "старая индианка", но все-таки похож. А настоящего лица все равно больше никогда не увижу».

Сидя со мной на пляже в Каннах, говорил он мне: «Конечно, я стар, но смотрите, какое у меня молодое тело». И правда, для своих лет был он еще строен и молод. При его любви к жизни, боязни старости и смерти, это его радовало.

Пытаюсь вспомнить. Но в памяти есть провалы, и многого уже не восстановить. Почти все люди, которых я в жизни любил: Поплавский, Ходасевич, Бунин, Георгий Иванов, — тлеют в своих гробах. Но не надо об этом думать. И что такое смерть? Не знаю.

Висит над моей кроватью портрет Лермонтова, убитого много, много лет назад Мартыновым. Но жив Лермонтов в моем сердце, и если бы не было его, то и я был бы совсем не тот. Был бы, конечно, но совсем другим.

Мартынов, умирая, завещал, чтобы не было имени на его могиле. Понял он, кого он убил! Понял он, что убийца поэта — не достоин имени.

Но ведь Дантес ничего не понял. Умер французским сенатором и до конца своих дней считал, что был прав,

наводя дуло пистолета на сердце Пушкина. Правда, попал он не в сердце, а в пах. Рука даже у него дрогнула. Но имя его, презираемое всей Россией, до сих пор темной тенью витает над пушкинским светлым именем. И никогда не найдет покоя.

Но о чем говорить? Ходасевич когда-то составил синодик русских замученных поэтов. Все они, так или иначе, погибали, убивались. Не всегда пулей, но нищетой, равнодушием, презрением. Самая страшная смерть была смерть Гумилева, которого коммунисты, перед расстрелом, заставили рыть свою могилу. По свидетельству чекиста, принимавшего участие в этом чудовищном преступлении, Гумилев вел себя благородно и бесстрашно. Дантес оправдывал себя тем, что ведь на дуэли он тоже рисковал своей жизнью. Коммунистические убийцы, убивая поэта, ничем не рисковали. Но перед лицом Бога и перед человеческой совестью они навек прокляты.

 ${\cal N}$ вы не смоете всей вашей черной кровью Поэта праведную кровь...

А Осип Мандельштам, выбросившийся из окна чекистского застенка и сломавший себе ноги, а Марина Цветаева, повесившаяся на советском чердаке? Даже поэты, служившие советскому режиму (Маяковский, Есенин), не выдержали и наложили на себя руки.

Большевики доводят всегда свои злодеяния до пределов адовых.

Какие прекрасные лица, И как безнадежно бледны — Наследник, Императрица, Четыре Великих Княжны... Не надо быть монархистом, чтобы заплакать от ужаса и жалости, вспоминая подлое, в подвале, убийство Царя, поверившего в милость своего народа, благородной Матери-Царицы, бедных девочек, больного мальчика. Сорок пять лет русского коммунистического рабства есть справедливое возмездие за то, что вся Россия — мы все допустили убийство невинных, не защитили русских поэтов от насилия, надругательства и отчаяния.

Мне возмездие, и Аз воздам.

Было бы отвратительно, если бы большевизм «удался», и в результате русской трагедии, страшных русских страданий, гибели русского духа, гражданеподобные советские рабы, вполне удовлетворяясь мещанским своим благополучием, жрали бы каждый день по бифштексу — догнали бы Америку, — предел чаяний своих обезьяноподобных вождей.

Но отойди от меня, сатана!

Когда-то у Мережковских спросил я А.Ф. Керенского: «Скажите, Александр Федорович, если бы завтра большевизм рухнул, какую бы вы хотели для России свободу?» Он подумал и сказал: «Такую, как при Александре III».

«За что боролись?!»

Но есть ли смерть? Читал я когда-то книгу великого биолога, ученого исследователя Вейсмана. Полушутливо он говорил, что о своем духовном бессмертии он мало что знает, но в свое физическое бессмертие он все больше и больше начинает верить.

Старый знаменитый немецкий ученый основывал эту свою веру на том, что на земле есть существа, физически бессмертные. Высшие животные, состоящие из не-

обозримого количества клеточек, физической смерти обречены, но одноклеточные естественной смерти не знают. Эти жалкие микроскопические амебы просто делятся на две живые половинки, из которых каждая превращается в амебу. Их физическая жизнь может тянуться сотни миллионов лет, никогда смертью не прерываясь. Налицо нет никогда трупа, который бы об этой смерти свидетельствовал.

Можно взять водяного полипа и разбить его на десять частей. Каждая часть превратится в целого полипа. Старый полип не будет убит. Разрубите червя. Каждая его часть начинает жить самостоятельно. Вместо одного будет два червя.

Так вьется на земле червяк, Рассечен тяжкою лопатой.

Это значит, что смерть не есть первичное свойство жизни, а только его позднейшее добавление.

Человек потерял физическое бессмертие, но приобрел бессмертие духовное. Душа, как бабочка из кокона, вылетает из мертвого тела. Но окончательно ли она его покидает? Есть же чудотворные мощи, излучающие жизнь и исцеление. А трехдневный Лазарь, восставщий из гроба?...

Чаю воскресения мертвых...

Апостол Павел, знавший то, что мы только изредка, смутно прозреваем, писал: «Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг, в мгновенье ока, при последней трубе».

Христиане или, во всяком случае, многие из считающих себя таковыми часто забывают, что последняя труба может зазвенеть каждое мгновение. Так что воз-

можно, что многие люди, сейчас живущие, никогда не узнают смерти.

Конечно, на бессмертие есть только надежда. Но не есть ли надежда память о будущем?

Вспоминаю: жил я в Аррасе. Немцы наступали. Французы клали на дороге бревна, по наивности или уже в отчаянии думая, что бревна могут остановить танки. Видел сумасшедшего солдата. Сошел с ума от страха. Его под руки вели два его приятеля. Все-таки есть товарищество! Но удивился я, что люди до безумия боятся смерти. Прожил я жизнь долгую, но прошла она как мгновение, пролетела как молния. В вечности, все равно, или будем бессмертны, или исчезнем. А здесь на земле умрем завтра или через много лет, не все ли равно? Но в жизни умереть сейчас или завтра — страшно.

Аррас погибал. Немцы где-то в тумане, еще невидимые, наступали. У французов началась шпиономания. Может быть, основания для этого были. Около Арраса находили брошенные, пустые парашюты. Какие-то немецкие волонтеры смерти спускались во французском тылу, чтобы взрывать мосты, передавать нужные немецким штабам сведения, помогать наступающим войскам и почти наверное погибнуть. Видел я мальчика, которого вели на расстрел. Был он страшно избит. Еле шел. Единственное доказательство того, что был он шпионом, была свастика, которую при обыске нашли у него в кармане. Удивительно, что его начальники, посылая его во французский тыл, не объяснили ему, что нельзя немецкому шпиону носить в кармане свастику. Но, быть может, хотел он иметь с собою символ того, во имя чего он пошел на смерть. И погиб мальчишка из-за свастики — изуродованного креста.

Работал я на заводе, который до войны изготовлял будильники. С начала войны стал этот завод изготовлять стаканы артиллерийских снарядов. Кстати, все, что мы успели изготовить, досталось немцам. Так что напрасно мы старались.

Давали нам два часа на завтрак. Поев в ближайшем ресторанчике, пошел я прогуляться, подышать воздухом. Возникало во мне начало какого-то стихотворения, начало, которое я никак не мог до конца услышать. Зашел в кафе, выпил кофе с ромом. Хозяйка мне улыбалась и, получив деньги, сразу куда-то исчезла. Выходя, остановился я, все думая о начале стиха, все от меня ускользавшего. Подъезжают ко мне на мотоциклетках два английских полевых жандарма (в Аррасе был штаб английского экспедиционного корпуса) и что-то мне говорят. Но так как по-английски, кроме ves, no и I love you, я ничего не знаю, я никак не мог понять, что они от меня хотят. Начали объясняться жестами. Понял я, что должен я стать между двумя жандармами и идти туда, куда они меня поведут. Я пошел. Вокруг нас стала нарастать толпа — «поймали немецкого парашютиста »

Старался я не смотреть по сторонам и не оглядываться. И все мучила меня строчка стиха, которая все от меня ускользала. И вдруг мелькнула — «оттого, что я тебя люблю» — как это было просто.

Кто-то из толпы бросил камень. Попал он не в меня, а в английского жандарма. Он свирепо посмотрел на толпу и еще ближе ко мне придвинулся. Видимо, хотел он довести меня до штаба живым. Дошли. Жандарм свистнул. Гремя сапогами, выбежала полурота английских солдат. Впереди офицер. Худой, длинноногий. Напомнил он мне чем-то великого князя Николая Нико-

лаевича, которого я когда-то в детстве видел. Говорил он неплохо по-французски. Показал я ему мои бумаги. Он пожал плечами, попросил меня немного подождать. За открытыми воротами толпа орала: «A mort! A mort!»*

Антлийский офицер стоял рядом со мной, вежливо мне улыбаясь. Был он джентльмен и, может быть, искренне думал, что я немецкий парашютист. Уважал он во мне мое спокойствие, которое напоминало ему храбрость. А я думал: «Боже мой, дай мне силы, чтобы никто не видел, что мне страшно».

Во двор влетели на мотоциклетках два французских жандарма. Я показал им свои бумаги. Один из жандармов вышел за ворота и что-то прокричал в толпу. Стала толпа расходиться. Странно, что она так же быстро исчезла, как и возникла. Французский жандарм сказал мне: «Конечно, все ваши бумаги в порядке, но мы должны их проверить на вашем заводе». И я вышел уже между мотоциклетками французских жандармов. Толпа разошлась. Только трое мальчишек провожали нас. Смотрели они на меня с ужасом и восхищением. Не поверили они жандарму! Оставался я для них злодеем, спустившимся с неба. Но было это уже не страшно.

Когда мы пришли на завод, все сразу выяснилось. Я спросил жандарма: «Зачем же вы арестовываете людей невинных?» Он очень честно и серьезно посмотрел мне в глаза и сказал: «Лучше арестовать десять невинных, чем пропустить одного виновного!» Бедные десять невинных!

Расскажу анекдот, хотя этот анекдот и есть жизнь. Приехал к нам на завод русский еврей. Должен был он

^{* «}Смерть! Смерть!» (фр.)

помогать мне в бухгалтерии. Было ему тогда больше шестидесяти лет. В Париже у него оставались жена и дочь, которых он очень любил и для которых работал. По виду был явный семит. Один нос чего стоил! Был хороший человек, и мы с ним подружились. Любил он стихи, из всех поэтов предпочитал Надсона. Став в позу, читал он мне:

Мир устанет от мук, захлебнется в крови, Утомится безумной борьбой, — И поднимет к любви, к беззаветной любви, Очи, полные скорбной мольбой!...

Но больше трех дней в Аррасе прожить он не смог. За три дня его арестовали шесть раз. Один раз довольно сильно избили. Аресты и избиение были, конечно, нелепы. Вряд ли Гитлер послал бы парашютистом старика-еврея. Но говорил он по-французски с сильным акцентом, и в Аррасе его никто не знал, а незнакомый всегда враг. Пришлось отвезти его на заводском автомобиле на вокзал и посадить в поезд. Уезжая, крепко пожал он мне руку и сказал: «А все-таки Надсон замечательный поэт!

И поднимет к любви, к беззаветной любви Очи, полные скорбной мольбой!..»

Я промолчал. Улыбнулся ему. Стихи, конечно, плохие, но человек ты хороший.

Ничего не знаю о его дальнейшей судьбе. Может быть, в Париже, немцы, увидев его длинный нос, арестовали его и, как Георгий Иванов говорил мне со спокойным отвращением, «сварили его на мыло». Может быть, идя на страшную смерть, вспомнил он свои аресты в Аррасе. Жаль старика. Если его, в конце концов, все-таки убили — Царство ему Небесное!

По вечерам над Аррасом выли сирены. Выли они впустую, так как ни разу, когда они выли, немецкие аэропланы над Аррасом не пролетали. Но мы, этого не зная, спускались в подземное убежище. Были около Арраса катакомбы. Чтобы в них попасть, нужно было спускаться по узкой деревянной лестнице. Внизу было несколько довольно больших пещер. Горело электричество. Песчаные эти пещеры по вечерам наполнялись людьми, спасающимися от смерти. Только потом я сообразил, что если бы какой-нибудь сумасшедший немецкий летчик сбросил бомбу, не только на эти катакомбы, но где-нибудь поблизости, то узкий песчаный вход сразу же обвалился бы и мы все задохнулись бы в безвыходном подземелье. Вторая смерть была бы горше первой. Но тогда об этом никто не думал.

Было нас несколько русских: инженер с завода (играли мы с ним по вечерам на бильярде, хороший был у него удар, но все-таки иногда я его обыгрывал), его жена и собака. Спускался еще с нами очень милый молодой человек, работавший на нашем заводе как magasinier*. Обязанность его была отправлять покупателям нашу продукцию, но так как стаканы для снарядов, которые мы фабриковали, отправлять было некому, заворачивал он в бумагу оставшиеся наши будильники. На них еще покупатели находились.

Странно, что тень шпиономании упала на нашу в общем очень невинную компанию, даже в этом мрачном подземелье. Говорили мы между собой по-французски, но часто сбивались на русский. Язык этот французы не понимали и поэтому считали враждебным. Видимо, напоминал он им о темной и страшной

^{*} Здесь: кладовщик (ϕp .).

силе, которая медленно их окружала. И они окружили нас. Было семь молодых людей и две девицы. У девиц глаза были злые, у молодых людей глупые. Уселись они вокруг нас и неотрывно, в упор на нас смотрели. Воображали они себя, вероятно, Шерлоками Холмсами, открывшими в подземельях Арраса величайших в мире преступников. Смущала их, конечно, собака. Странно было бы предположить, чтобы шпионы спускались на парашюте с фоксом.

В двенадцать часов потушили свет. Лежали мы в кромешной тьме. Жена инженера наклонилась к моему уху и прошептала: «Они нас наверно убъют!» Я ответил ей, стараясь, чтобы голос мой был спокойным и веселым: «Не убъют, а если начнут убивать, мы будем отбиваться!»

В шесть часов угра зажгли свет. Наши Шерлоки Холмсы спали. Мы тихо вышли. Над Аррасом поднималась заря. Воздух был чист и прозрачен. Я глубоко вздохнул: «Боже мой, что же это такое?»

На следующий вечер сирена не выла. Потому и не спускался я в катакомбы. Жил я в небольшом отеле, выходившем на маленькую очаровательную средневековую площадь. Напротив была гостиница, лучшая в Аррасе. Останавливались в ней только очень богатые люди. И два этажа были отведены для офицеров английского штаба. Пришел я домой. Разделся. Лег в постель. Взял книгу — Иннокентий Анненский — стал читать:

О, канун вечных будней, Смерти мутное жало... —

и вдруг услышал: гудит где-то в небе аэроплан. Кружит, кружит... «Хорошо нас охраняют», — подумал я и перечитал:

И как-то неожиданно, мгновенно все стекла в моей комнате вылетели. За окнами дым. Оказалось, что немецкий летчик долго кружил над Аррасом, все нацеливался и, в конце концов, очень метко бросил бомбу в знаменитую гостиницу. Я быстро оделся. Комната была полна дыма.

Вышел на площадь. Мутный огонь полыхал над несчастной гостиницей. Приехали пожарные. До утра они тушили, а мы разрывали обломки пожарища. В третьем этаже, продравшись через заваленную дверь, нашел я на постели мужа и жену, бельгийских беженцев. Муж был убит наповал, у жены не было ни одной царапины. А ведь лежали они рядом! Есть все-таки у смерти свои любимцы!

В полуподвальном помещении, где прежде был бар (заходил я туда иногда выпить кофе), нашел я и моего английского офицера, который так вежливо улыбался, когда толпа кричала мне «А mort!» Был он мертв. Уже не был он похож на русского великого князя. Обе ноги у него были оторваны, и казался он очень маленьким. Но бледное и печальное его лицо хранило в то же время выражение вежливости и благородства.

Утром я пошел на завод и сказал, что больше не могу оставаться в Аррасе. Дирекция сразу же выдала мне бумаги, удостоверяющие, что я еду в Париж по делам завода. Засвидетельствовав бумаги в жандармерии, я взял чемодан и пошел на вокзал. Толпа стояла стеной. Не только вокзал, но и вся площадь перед вокзалом была запружена народом. Пробраться к поезду было, конечно, немыслимо.

Тут я понял правду русской пословицы — «Не имей сто рублей, а имей сто друзей». Иногда играл на бильярде с французом, служившим на аррасском вокзале. Играл он плохо, так что я всегда его обыгрывал. Но уважал он меня за мое искусство и за то, что я угощал его иногда белым сухим вином, которое он любил. Случайно увидев его, подошел к нему, объяснил, что надо мне ехать в Париж. Он хитро мне подмигнул и сказал: «Је vais arranger ça!» * — и повел меня через какой-то палисадник, вел непонятными мне путями, привел на перрон и поставил в первом ряду. Было это, конечно, несправедливо по отношению к людям, толпившимся на площади. Но я уже махнул рукой на справедливость!

Подошел поезд. Был он до отказа набит беженцами из Бельгии. Стал я на подножку вагона, попытался открыть дверь. Дверь не открывалась. С той стороны двери стоял человек, смотрел на меня сквозь стекло прозрачными, холодными глазами и дверь не открывал. Поезд стал медленно отходить (как потом я узнал, был это последний поезд, отошедший от Арраса. Ночью вокзал был разбит бомбами). Правой рукой держался я за поручни, в левой держал чемодан. Очень мне этот чемодан мешал — сильно оттягивал руку. Мог бы я, конечно, разжать руку. Но не хотел я бросить чемодан. Не потому, что я был жаден и мне жалко было вещей, а потому, что лежали в чемодане письма, книги, фотографии людей, которых я любил.

Поезд, спотыкаясь на стрелках, увеличивал скорость, мчался в кровавом закате. Человек смотрел на меня спокойными, пустыми глазами и дверь не открывал,

^{* «}Сейчас я это устрою!» $(\phi p.)$.

хотя и видел он, что с нелепым моим чемоданом могу я каждую минуту сорваться под откос. Странно, что в несчастье люди становятся хуже, эгоистичнее... А ведь должно было бы быть иначе!

Мимо пролетали поля. Ветер сорвал с моей головы шляпу. Но чемодан — письма, дружбу, любовь — все равно не брошу!

Посмотрел я вниз и увидел свою руку, державшую чемодан. Была она белая, проступали на ней синие вены. И вдруг рука разжалась и чемодан полетел под колеса. Но это не я разжал руку. Рука разжалась сама. Значит я и моя рука, мое тело совсем не то же самое, — подумал я с какой-то печальной радостью. Как это хорошо. Тело упадет под откос, а я — это совсем другое! Я-то не упаду! Но что же со мной будет?

Человек, стоявший за дверью, вдруг наклонился, сделал какое-то движение и открыл дверь. Я вошел на площадку вагона.

Видимо, этот несчастный бельгийский беженец не открывал мне дверь совсем не потому, что был он равнодушен к моей гибели, а потому, что мой чемодан мог его в узком коридоре стеснить. Когда я вошел, он захлопнул дверь, вынул портсигар и предложил мне бельгийскую папиросу.

* * *

Париж был темен, сир, мутен. Начинался великий исход. Дикие толпы уходили неизвестно куда. Все дороги были забиты людьми и автомобилями. Немецкие летчики иногда били бомбами по этим бегущим толпам. Моя первая жена, Магдалина Смоленская, пешком, на высоких каблучках, ушла в безвыходный по-

ход. Спасла ее, конечно, только бесконечная милость Господня к своим безумным детям.

Через несколько дней после моего приезда немцы бомбардировали Париж. Нацеливались они на завод Рено в Бийянкуре. Но или немецкие летчики были неопытны, или, бросая бомбы, они волновались, или техника разрушения и убийства была еще недостаточно точна, но много бомб упало не на завод, а на avenue de Versailles, на Boulogne и на Issy les Moulineaux.

В Исси на av. de Verdun жили две девочки — Ляля и Нина, со своей бабушкой Зоей Владимировной. Девочек этих и бабушку я очень любил. Девочки были крестницами моей невесты (теперь моей жены), бабушка была, да и осталась до сих пор, верным нашим другом. Нина и Ляля были близнецами и идеально до неправдоподобия были друг на друга похожи. Когда в первый раз они меня увидели, было им еще очень мало лет и мое довольно длинное имя выговаривать им было трудно. Стали они меня называть почему-то Коша. Странно, что это детское имя как-то ко мне прилипло. Жена до сих пор называет меня Коша. Георгий Иванов в своих письмах ко мне писал мне всегда: «Дорогой Коша», и все мои близкие друзья так до сих пор меня и называют.

Девочки были веселые, умненькие и хитренькие. Решив, что человек я наивный и доверчивый, стали они меня «разыгрывать». Прихожу я к ним и, не зная кто из них кто, кто Ляля, кто Нина, спрашиваю одну из них — ты Ляля? «Нет, я Нина» А ты? «Я Ляля» Видя, что я им верю, начинают хохотать — обманули Кошу! «Я совсем не Нина, а Ляля! Это она Нина»

В доме, в котором жили мои девочки, подвал был неглубокий, и, когда сирена завыла, бабушка повела

внучек в подвал дома по другую сторону улицы, считавшийся более надежным. По странной иронии судьбы бомба упала как раз на этот дом, к счастью, пробив только три верхних этажа. Подвал покачнулся, и в нем потухло электричество.

Жил я тогда на rue Lacretelle, около porte de Versailles. Увидев через окно, что бомбы падают на Исси, бросился я спасать моих обманщиц. Задыхаясь, добежал. На avenue de Verdun увидел дом. Вся его стена отвалилась. В третьем этаже, в кресле, сидел старик и спокойно читал газету. Спокойствие его было уже нездешним. Вся верхняя часть головы была у него срезана осколком бомбы, и кровь, залившая не успевшие закрыться глаза, мешала ему, конечно, читать.

Но ведь это не этот дом. Их дом напротив — подумал я, слава Богу! Вбежал на третий этаж, звоню, никто не открывает, спускаюсь в подвал, их там нет. Выхожу на улицу и вижу: выходит из подвала разрушенного дома бабушка, ведет за ручки близнецов. Бабушка взволнована, девочки в очень хорошем настроении, видимо, происходящая вокруг суматоха очень их веселит. «Я Ляля» Отстань от меня. Ляля ты или Нина! Но надо вас всех отсюда увозить.

С большим трудом нашел такси и отвез бабушку и девочек в Grosrouvre, километров 45 от Парижа. Были сняты две комнаты на ферме у М-те Lalandre, толстой французской крестьянки. Была она очень стара, жила на покое. Целыми днями сидела на деревянном стуле и смотрела на двор, где копошились жирные куры. Но казалось, что видит она уже что-то совсем иное.

По вечерам бабушка, будучи сама очень вежлива и заботясь о светском воспитании своих внучек, перед тем как укладывать девочек спать, подводила их к

старухе. Девочки делали глубокий реверанс и нараспев говорили: «Bonsoir, madame Lalandre» * М-те Lalandre поднимала на них свои уже потусторонние глаза, улыбалась и ласково говорила: «O, comme c'est gentil» **

Вернувшись в Париж, на rue de Passy встретил я Бунина. В Бийянкуре горели склады бензина. С неба падали черные клочья сажи. «Уезжаю на юг, — сказал он мне. — А что же вы, поэт, будете делать? Куда уезжаете?» — «Некуда мне уезжать, Иван Алексеевич, — сказал я. — Нет денег, да и нет желания. От смерти все равно не убежишь. Да и есть ли смерть?»

«Ну, ну, — сказал он, слабо и ласково улыбаясь. — Смерть-то, конечно, есть, но в чем-то вы может быть и правы».

Лица наши и руки все больше покрывались сажей, в вечернем сумраке все больше чернели. «Ну, что же, — сказал Иван Алексеевич, — прощайте, надо идти».

Перекрестил меня большим крестом. Поцеловал. «Господь с вами, Господь с вами! Может быть никогда не увидимся!»

Увиделись.

^{* «}Добрый вечер, мадам Лаландр $\$ » (ϕp .).

^{** «}О, как это мило» (фр.).

Мысли о Владиславе Ходасевиче

Издательство имени Чехова выпустило книгу литературных статей и воспоминаний Владислава Ходасевича¹. Следовало бы написать отдельную статью об этом странном издательстве, издающем хорошие книги чрезвычайно редко и, по всей видимости, случайно, наводнившем зарубежный книжный рынок книгами второсортными, авторами третьеклассными. Следовало бы написать об издательстве, предпочитающем журналистику поэзии, и при больших, видимо, финансовых средствах обладающем чрезвычайно малым художественным чутьем и весьма ограниченными литературными знаниями и вкусом. Непонятно, почему издательство это присвоило себе имя Чехова — писателя лирического. Имя Писарева или Чернышевского было бы ему гораздо больше к лицу.

Книга Владислава Ходасевича является одной из весьма немногих прекрасных книг, выпущенных этим издательством. Предисловие к книге написано Н. Берберовой, кратко и точно (сразу видна Ходасевическая школа). Большинство статей посвящены литературе XIX века, столь любимой Ходасевичем, но статьи самые пронзительные — это статьи о литературе эмигрантской. В течение многих лет Ходасевич разделял с ней ее судьбу, принимал участие в ней не только как поэт и литературный критик, но и как учитель, друг и защитник молодой эмигрантской литературы. Так называемая «Парижская школа» эмигрантской поэзии многим ему обязана.

¹ Владислав Ходасевич. Литературные статьи и воспоминания. Издательство им. Чехова. Нью-Йорк, 1954.

Был он другом благожелательным, справедливым и суровым. Критиком неподкупным. Некоторые из литераторов (главным образом бездарные) считали его злым. А он говорил: «Как же мне не быть злым? Ведь я защищаю от насильников беззащитную русскую Музу».

Ходасевич был одним из самых замечательных поэтов XX века. Книги его стихов, «Путем Зерна», «Тяжелая Лира», «Европейская Ночь», станут по праву наряду с лучшими книгами поэзии русской. Издательство «Возрождение» может гордиться, что оно издало эти книги. Был он, кроме того, прекрасным прозаиком, его книги «Державин», «Некрополь» и то, что мы читали из его неоконченной книги о Пушкине, и его статьи по глубине мысли, своеобразию стиля, точности знаний, мастерству, проникновению в сущность вещей являются замечательными образцами русской художественной прозы.

Я не вполне согласен с Н. Берберовой, когда в своем предисловии она говорит, что Ходасевич «математику всегда предпочитал мистике». Я думаю, что он даже не хотел, как Сальери, проверить алгеброй гармонию. Он знал, что алгебра (знания, мастерство) входит в гармонию как один из ее элементов, почему и презирал невежд, «вдохновенных недоучек», выставляющих наружу свою мнимую необыкновенность.

Он знал, что форма связана с содержанием, как тело связано с душой. Он знал, что «свои чувства и мысли нужно подчинить тому высшему руководству, которое дается религией», что «свою страстную любовь к жизни нужно осветить любовью к Богу». Он знал, что «по природе искусство религиозно, ибо оно не будучи молитвой, подобно молитве, и есть выраженное отношение к миру и Богу». Зная все это, он, конечно, уже был не математиком, а мистиком.

Ходасевич верил, что не только душу отдельного человека, но и душу России, ее поэзию, ее литературу, и значит и ее судьбу, могут спасти только вера и воля, соединенные с вдохновением — с благодатью Божией. Ходасевич верил в чудо. Из веры в это чудо и возникает оптимизм его по существу трагической книги.

Помню, как на Монпарнасе один из «восторженных поэтов» (теперь он занимается коммерцией и, кажется, в ней процветает) спросил у Владислава Фелициановича: «Верите ли вы в Бога?» — видимо, желая завести «умный разговор». Ходасевич посмотрел на него с печальной усмешкой и сказал: «На глупые вопросы я не отвечаю».

Ходасевич был проницательным реалистом. Социалистическому реализму в Сов. России следовало бы поучиться у Ходасевича реализму проницательному, ибо проницание в подлинную сущность вещей и есть задача литературы, поскольку литература не есть бумагомарание и некое средство для материального благополучия и сомнительной славы, а есть героическая попытка преображения мира и жизни.

Защищая молодых эмигрантских писателей, Ходасевич, может быть, не всегда был вполне справедлив к писателям старшего поколения. Конечно, все, что он пишет о «величественном незамечании», о «невнимании, не идейного, а практического характера», отчасти и верно. Но только отчасти, потому что и представители старшей литературы, писатели, бывшие знаменитыми еще в России, прошли в эмиграции тот же путь нищеты и одиночества, как и поколение младшее. Недавно один из этих знаменитых русских эмигрантских писателей мне сказал: «По существу, чем отличаемся мы, русские старые писатели, от нищих, что просят милостыню на папертях храмов или на перекрестках улиц? — Только тем, что мы нищие мирового масштаба».

Подметальщики улиц, лениво сметающие грязными метлами с тротуаров, под окнами эмигрантских писателей, окурки и брошенные бумажки, зарабатывают, по своим синдикальным ставкам, много больше, чем самые удачливые из этих русских знаменитостей.

Но совершенно прав Ходасевич, когда говорит он об эмигрантской массе, о читателях, если так их можно назвать, так как в большинстве своем они ничего не читают. У любого русского эмигранта найдутся деньги, чтобы пойти раз в неделю в синема, но денег на покупку книги — нет. Это касается эмигрантов и бедных и богатых, которых, кстати, в эмиграции не так уж и мало.

У эмигрантской литературы нет рынка, поэтому никакое издательство, не основанное на принципе меценатском, — невозможно. Если бы эмигрантские писатели захотели заняться только литературой (и только тогда смогли бы они проявить всю силу своего таланта и ума), они бы умерли с голода. Эмигрантская литература оказалась не по плечу русской эмиграции. Прав Ходасевич, говоря, что «судьба русских писателей гибнуть. Гибель подстерегает их и на чужбине, где мечтали они укрыться от гибели».

Ходасевич жалел русских писателей, обреченных на гибель, и в меру своих сил пытался их защищать. «Бичи и железы», «методы палаческие», с таким успехом применяемые в Сов. России, да иногда применявшиеся и раньше, воздействия более тайные, более мягкие и иногда даже вежливые, все то страшное, что, по словам Гоголя, слышно в судьбе русских поэтов, показаны Ходасевичем в этой книге.

Но, проникая в тайный смысл вещей, Ходасевич, любя и жалея обреченных поэтов, ушедших от пули в затылок к медленной смерти от голода, понимает, что «в жертву всегда приносится самое чистое, лучшее, драгоценное». «Изничтожение поэтов, по сокровенной природе своей, таинственно, рипуально. В страдании пророков народ мистически изживает собственное свое страдание».

Ходасевич понимал эмиграцию, как посланничество. Он говорил, «что национальная литература создается ее языком и духом, а не территорией и не бытом, в ней отраженном». Упрекал он эмигрантскую литературу как раз в том, что она недостаточно эмигрантская, что у нее не хватает «возвышенного сознания своей миссии», которая заключается в сохранении и передаче русской литературной традиции и русской культуры, подвергающейся в СССР преследованию и искоренению, будущим русским поколениям.

Как критик Ходасевич был консерватором. Консерватизм, в его понимании, конечно, не имел ничего общего с реакцией. Он говорил, что всякая литература «имеет свойство сохранять свое бытие не иначе, как находясь в состоянии постоянного внутреннего движения». «Сохранение литературной традиции, литературный консерватизм, есть не что иное, как наблюдение за тем, чтобы это внутреннее движение вперед совершалось бы ритмически правильно, целесообразно и не разрушало бы самого механизма литературы». Литературный консерватор, по мнению Ходасевича, «есть хранитель огня, а не его угаситель».

В книге Ходасевича встают перед нами литературные и человеческие образы Дмитриева, Грибоедова, Вяземского, Дельвига, Мицкевича, Гоголя, Сигизмунда Кра-

синского, Льва Толстого, Тютчева, Чехова, Иннокентия Анненского, Бялика, Андрея Белого, Маяковского, Поплавского, Сирина... Всякому русскому человеку, интересующемуся поэзией и литературой, следует эту книгу прочитать. Почерпнет он в ней не только знания, но и глубокое понимание подлинного их смысла.

Очень интересны также воспоминания Ходасевича о первых годах владычества большевиков в России, о Москве и о Петербурге, ставшем в эти годы, в нищете и обреченности, городом необыкновенно прекрасным. Жизнь литературной России, задыхающейся в лапах большевизма, жизнь большевистской знати, задыхающейся во лжи, пошлости и злодействе, рассказаны Ходасевичем с горьким юмором, талантливо и объективно.

Ходасевич написал в эмиграции около трехсот статей, напечатанных, главным образом, в «Возрождении». В книге, о которой я пишу, из них напечатано всего тридцать. Остальные ждут еще просвещенного издателя, который бы их собрал и издал. Не только русская эмиграция, но и будущая свободная Россия будут ему за это навек благодарны.

Издательство имени Чехова, перепечатывая статьи Ходасевича, почему-то не считает нужным указывать их источник. (Исключение сделано только один раз для «Современных Записок».) Эта «забывчивость» затруднит работу будущих историков литературы, которые захотят воспользоваться этой книги для исследования по истории русской мысли. Но все же должны будут они поблагодарить это незадачливое издательство, которое издавало, пусть редко и случайно, книги нужные не только эмиграции, но и той России, в которую мы все — верим.

Содержание

СТИХИ	
3 A K A T	
«Как лебедь, медленно скользящий»	24
Мост	25
«Будут жить в тесноте»	27
«Никогда я так жалок не был»	28
«За ночами проходят дни»	29
«Бессильны мы, обречены судьбе»	30
«Закрой плотнее дверь, глаза закрой»	31
«Как в водах темного колодца»	32
«Канут годы в вечность без следа»	33
«Какое дело мне, что ты живешь»	34
Ангел	35
«С каждым годом бьется сердце глуше»	36
«У нас оледенела кровь»	37
«Себя спасти не можешь — даже ты»	38
«Окончено стихотворенье»	39
	40
	41
** *	42
	43
	44
Два восьмистишия	
«Моя высокая, моя звезда»	46
«Ни смерти, ни жизни, ни правды, ни лжи»	46

Виктор Леонидов. О Владимире Смоленском 7

Сердце	47
«Какое там искусство может быть»	49
Муза	50
«Друг, не бойся — не страшен страх»	51
Закат	52
«Моя любовь — ты как легчайший сон»	53
«Ты сказала мне: "Мы сильны»	54
Два восьмистишия	
«Зачем ты здесь, зачем всегда со мной»	55
«Не уходи, не уходи»	55
«Я знаю, что любовь сильна»	56
«Не надо ни бессмертия, ни чуда»	57
«Ты уходишь от меня, уходишь»	58
«Как крылья Ангела — любовь моя»	59
«Это очень хорошо, когда»	60
«Звезда с небесных падает вершин»	61
«Плывет луна в серебряном огне»	62
«Все медленнее бъется сердце. Ночь»	63
«Звезды, одиночество, стихи»	64
НАЕДИНЕ	
«Нет тебя счастливей на земле»	66
«От бессмысленных дней, от бессонных ночей».	67
«Никакими словами, никакими стихами»	68
«Пиши стихи, за это ты»	69
«Разбрасывать и собирать слова»	70
«Смотри не отрываясь — дни и ночи»	71
«Ты прожил жизнь — а каждый год, как век»	72
«В томлении смертном, на смятой постели»	73
«Наедине с самим собой»	74
«В полночный час, когда луна»	75
Стихи о звезде	76
«Расцветает любовь над болезнью и над	
нищетой»	77
«Огромный мир, объятый мглой и сном»	78
«Огромный мир, объятый мглой и сном»	

«Как высказать тебя, любовь?»	80
«Если ты любишь кого-нибудь больше себя»	81
«О тяжелом, неизбывном горе»	82
«Не плачь, не плачь, все это сон и бред»	83
«О любви, которой больше нет»	84
«Храни бесстрастные черты»	85
«Ты встанешь в некий час от сна»	86
«Проклясть глухой и темный мир»	87
«Есть тишина, ей нет названья»	88
«Оно исчезает — счастье»	89
«А все-таки, наперекор всему»	90
«Живу как все, живу со всеми»	91
Музе	92
«Ты помнишь счастье, что живое билось»	93
«Вот ты ушла, уходят годы следом»	94
«Когда какой-нибудь дурак»	95
«Земная жизнь — коротких лет»	96
«От музыки и от вина»	97
«Так с мышью играет кошка»	98
«Никого не любить, ни себя, ни других —	
никого»	99
«Все давным-давно просрочено»	100
«Так в безрадостной страсти сгорает холодное	
сердце»	101
«Шампанское, и водка, и абсент»	
«Уходит жизнь, слабеют силы»	103
«Уходи навсегда, исчезай без следа в темноте»	104
«Все глуше сон, все тише голос»	105
«Ты встаешь из ледяной земли»	106
«Огромные, двуглавые орлы»	
«Иногда, из далекой страны»	108
«Кричи не кричи — нет ответа»	109
Стихи о Соловках	110
«Медленно бредет людское стадо»	
«Вызывая ужас и смех»	112
«Не пора ль развеять скуку»	113
«Не стоило так долго жить»	114

СЧАСТЬЕ

Таисии Смоленской	
I «Оттого, что я тебя люблю»	. 116
II «Не знаю как, не знаю почему»	. 116
III «И в сложности мучительной моей»	117
IV «Иногда мне кажется — ошибка»	117
V «Я знаю, исчезнет вот это печальное	
счастье»	118
VI «Ты отнял у меня мою страну»	. 118
VII «Быть может скоро, на закате дня»	120
«Ты остался один — не надейся, не плачь»	121
«А все-таки всего страшнее гроб»	122
«Ты видишь, Муза стоит над тобою, грозя»	123
«Страшно мне и горько в этом мире»	124
«Прости, если можешь, — недаром ты плакал»	125
«Ты меня еще можешь спасти, но спасенья	
не надо»	126
«Надоело мне все, надоело»	127
«Где наше счастье»	128
«Надгробное рыдание»	130
«Если дважды два четыре — мной»	
«Луч зари позолотил окно»	132
«Мне трезвый мир невыносим»	133
Цыганский сонет	135
«Остаться совсем одному и забыть»	
«Мы вышли ранним утром»	
«Белые ночи и черные дни»	138
«Мы будем пить, пока вино в стаканах»	
«Весенний холод, уличка Парижа»	140
«Никогда не услышишь — И вдруг далеко,	
далеко»	
«Любимая моя живет в Китае»	
«Горит звезда в пустынных небесах»	143
«Твой взор равнодушный и узкий»	144
«Лунного света тоска и величье»	145
«А все-таки нет выше на земле»	146

«Звенят соловьиные трели»	147
«Выскользнула чаша дорогая»	148
«Прощай — печальнее нет слова»	149
«Взглянул случайно на звезду»	150
«Подумай только, много есть в земле»	151
«Взгляни на небо — ни одна звезда»	152
Стихи о бессоннице	153
«Как сердце взволнованно бъется»	154
Стансы	155
«Как летящая из сил последних птица»	157
«Найди такие сочетанья слов»	158
«Все лучше и лучше, все выше и выше»	159
Стихи о мышах	160
«Есть что-то дикое в моей судьбе»	162
Баллада	163
«Когда этой жизни постылой»	166
Искушение	167
«Я никогда не пережил победы»	168
«О земном богатстве и о власти»	169
«Душа во мгле проснулась»	170
«Крестьянка очень любит кролика»	171
«Сияет солнце над моим Сервозом»	173
«Вот ты идешь тропинкою в лесу»	174
Элегия	175
«Альпинист стремится ввысь — не верьте»	176
«Смотри, как медленно и плавно»	177
Мазепа	
Стихи о Лермонтове	179
«Над Черным морем, над белым Крымом»	180
«Есть яма, которую ты не минуешь»	181
«Ты в крови — а мне тебя не жаль»	
«Я знаю, Россия погибла»	
России	
«Не надо о России говорить»	186
Стихи о троцкистах	187
Баллада о герое	
Монблан	190

«Возникнет звук печальный и неясный»	
«Бывают, конечно, попы»	192
Стихи о нищих	193
Святой Франциск Ассизский	194
Святая Таисия	
Плащаница	
«Осталось немного — миражи в прозрачной	
пустыне»	197
Горбун	198
Осень	
Ангел Смерти	
Times Chepty	
СТИХОТВОРЕНИЯ	
CIMACIBOPERMA	
«Горит зеленая звезда»	205
«Все проходит, легкой струйкой дыма»	206
«Любовь, любовь. — Как будто в райском сне».	207
«Я любил на земле Свободу»	208
Памяти Нины Фрид	210
«Голубые горы в тумане»	212
«По этим предгорьям ходила когда-то Жанна»	213
«Умер друг — не плачь, душа, не надо»	214
«Тихо, тихо тает высь»	215
«Я вижу — Муза стоит надо мной в слезах»	216
«Подымись — если сможешь, — взлети»	217
«Тюдымись — сели сможеть, — вэлети»«Тодымись — сели сможеть, — вэлети»	218
«Над рукописью небывалой»	219
«Никогда со мною ты не будешь»	220
«Страхом, грязью и кровью»	220
«Страхом, грязью и кровью»	222
«Для греха, страдания и смерти»	222
«Играй, играй, цыган проклятый»	222
«Так до конца идти не перестану»	225
«Ничего не хотеть, ни о чем не жалеть»	227
Солнце	
«В Вифлееме Младенец родился»	22/
«Когда поймешь, что все на свете ложь»	228
«Когда останусь совсем один»	<i>22</i> 9

Элегия	230
«Черное море шумит у пустых берегов»	231
России	232
«И не прощенно, не раскаянно»	233
«А у нас на Дону»	234
«Живем томительно, в труде и скуке»	235
«Когда-то ты писал стихи»	236
Слово	237
Таисии Смоленской	
1. «Есть черной стрелой в поднебесье подбитая	Ţ
птица»	238
2. «Перерезали горло»	
Неправильные ритмы	240
«Какая-то любовь не удалась»	241
Диалоги	
1. «Обглоданные нищетой старухи»	242
2. «— Вот осталось мало жить»	243
«Между жизнью и смертью прослойка»	244
«Какое сердце, душа какая!»	245
На смерть Бориса Поплавского	246
«Я слишком поздно вышел на свиданье»	248
«Но нет его, небесного свиданья»	
«О гибели страны единственной»	250
•	
СТИХОТВОРЕНИЯ,	
ОПУБЛИКОВАННЫЕ В ГАЗЕТЕ	
«ВОЗРОЖДЕНИЕ»	
«Пепел в очаге остынет»	2.52
«Широкий, легкий бег коня»	253
«Мне очень трудно одному»	254
The orens Trypho opining in initial in	
ПРОЗА	
Воспоминания	
Мысли о Владиславе Ходасевиче	274

Фотографии для издания любезно предоставлены семьей Туроверовых и М.И. Лифарь (Франция)

Смоленский В.А.

С 51 «О гибели страны единственной...»: Стихи и проза. — М.: Русский путь, 2001. — 288 с., ил.

ISBN 5-85887-117-8

Впервые «тончайшие, исполненные подлинного чувства, умно-сдержанные стихи» известного поэта русской эмиграции первой волны В.А.Смоленского (1901—1961) полностью представлены в одной книге. В сборник вошли также воспоминания и литературно-критическая статья В.Смоленского.

ББК 84(2Рос)6

Владимир Алексеевич Смоленский «О ГИБЕЛИ СТРАНЫ ЕДИНСТВЕННОЙ...» Стихи и проза

Художник О. Комарова Редактор М. Кузьменкова Технический редактор Л.А. Фирсова

ΛР № 040399 от 03.03.98 Подписано в печать 01.10.01. Формат 84х108/32 Тираж 2000 экз.

3AO «Издательство "Русский путь"» 109004, Москва, ул. Нижняя Радищевская, д. 2, стр. 1 Тел.: (095) 915-10-47

Отпечатано в типографии НИИ «Геодезия» 141260, Красноармейск, ул. Центральная, д. 16

